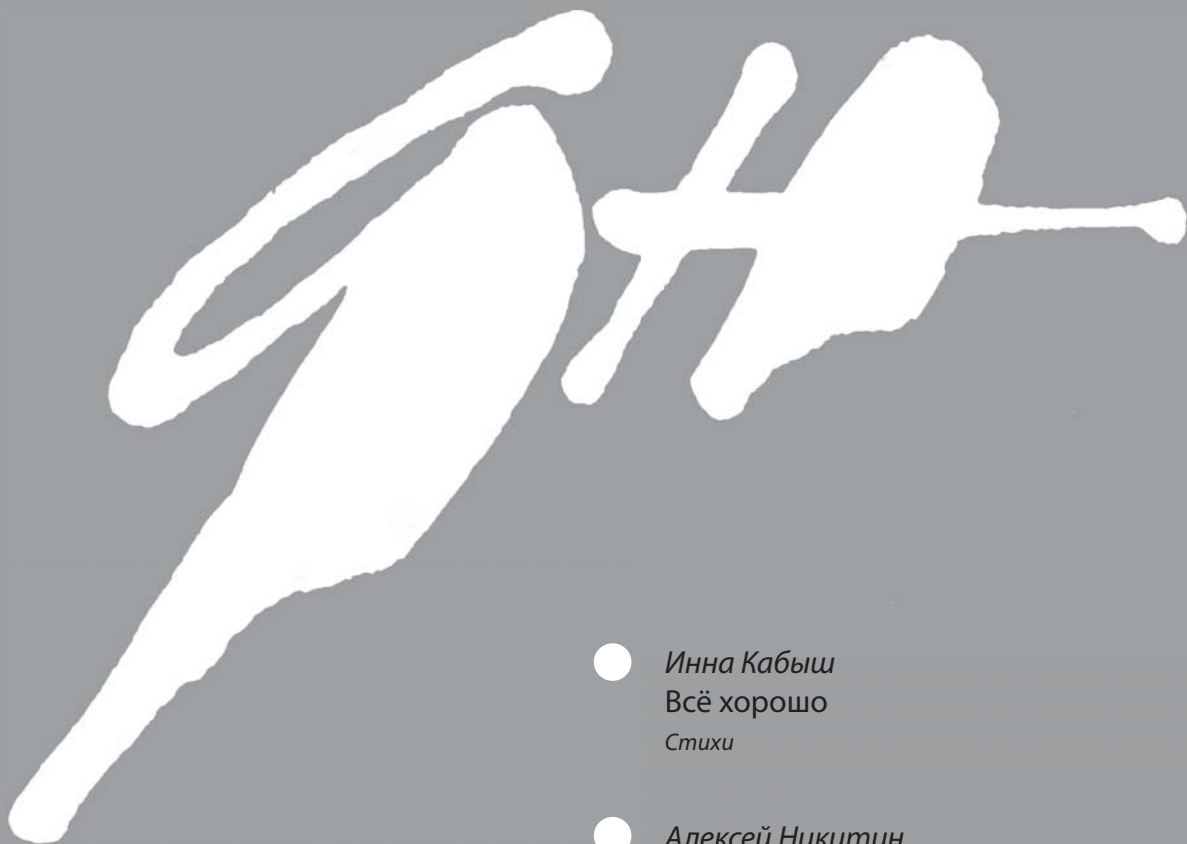


ДРУЖБА НАРОДОВ



ДРУЖБА НАРОДОВ 1/2016



1'2016

- *Инна Кабыш*
Всё хорошо
Стихи
- *Алексей Никитин*
Шкиль-моздиль
Роман
- *Андрей Русаков*
Ответственность культуры
и культурное многообразие
- Скажи мне «Здравствуй!»
Дружба на вырост
- Литературные итоги 2015 года
Заочный круглый стол

Андрей Русаков

Ответственность культуры и культурное многообразие

Глава I. Культура и беспомощность

1

«Вся моя Россия умещается у меня в голове и в моей домашней библиотеке. Моя Россия — это Россия Пушкина и Тургенева...» Теперь повсеместно то читаешь, то слышишь нечто подобное. Или еще так: *«Сущность нашей страны — не безмозглые вожди, окруженные холоями и палачами, а Набоков, Булгаков, Ахматова, Мандельштам, Бродский. Они останутся во времени, они и будут Россией, даже если из-за глупости правителей такое государство однажды перестанет существовать...»* И прочее в том же роде об ужасной политике, жуткой истории, отвратительном обществе и прекрасной русской культуре, в которую можно спрятаться по детскому принципу «Я в домике».

Итогом русского культурного развития словно оказывается иллюстрация к антиутопии из «Машины времени» Уэллса, где злобные подземные морлоки живут в симбиозе с милыми интеллигентными элоями, которые лишь чуть пугаются, если кого-то из них утаскивают на ужин, и торопятся о том забыть, скрываясь, чтобы щебетать в уютных куцах.

В фокусе общественного внимания не наблюдается ни рациональных проектов конструктивных действий, ни даже намека на здоровые, адекватные реальным обстоятельствам позитивные образы завтрашней России. Крах общественных ориентиров — момент профессиональной ответственности гуманитарно образованных людей; именно их знания и умения теперь наиболее востребованы. Как поступают офицеры в отставке, когда начинается война? Чего ждут от врача, которого будят среди ночи ради спасения больного? Но когда общество утрачивает здоровые ориентиры и вместе со страной сползает в пропасть, чего ожидать в России от «людей культуры»? Только того, что они произнесут ряд

Русаков Андрей Сергеевич, обозреватель издательского дома «Первое сентября», директор АНО «Агентство образовательного сотрудничества», автор книг «Эпоха великих открытий в школе девяностых годов» (СПб., 2005), «Уходящие перспективы. Школа после эпохи перемен» (М., 2000, 2-е изд. — СПб., 2014), «Школа перед эпохой перемен. Образование и образы будущего» (СПб., 2014).

гневных фраз и уедут перечитывать Тургенева в Баден-Баден или еще какую «внутреннюю Монголию». Но если за будущее сражаются только негативные сценарии, то никакая правильная Россия, «завещанная нам Пушкиным и Тургеневым», уж точно ниоткуда не возникнет.

Мы вступили в годы национального позора, за которые будет мучительно стыдно будущим поколениям русских людей. Через два десятка лет оправдания: «А я Тургенева читал», «я — как завещали: лучше жил в глухой провинции у моря», «я же каждый год на митинг выходил» и т.п. — прозвучат ничуть не лучше рассказов про то, что «нам же такое по телевизору говорили! все верили, ну и я отчасти...»

Никого лично ни в чем не упрекаю. Менее всего готов кого-либо осуждать за недостаточно активную жизненную позицию, понимаю и поддерживаю эмиграцию тех, кто разумно предпочитает уехать. Речь здесь не о гражданской позиции, а о параличе интеллектуальной работы, о внезапном исчезновении культурных ресурсов для нее.

Вдруг что-то не так именно там: «в России Тургенева»? Если национальная культура воспитывает лишь агрессивных идиотов, тихих обывателей и людей, которые в решающие для страны годы могут лишь наблюдать, рефлексировать и возмущаться, то, быть может, что-то не так с этой культурой? Или — как минимум — в наших с ней взаимоотношениях?

2

а) Но разве культуру должно мерить ее общественной «отдачей»?

Отчасти — да, должно.

б) Но разве мы можем выбирать свою культуру по своей воле?

Отчасти — да, можем.

Пусть даже культура («возделывание» по первоначальному смыслу латинского слова) обращена прежде к личному, нежели к общему, к «возделыванию» человека прежде, чем к «возделыванию» народа, но само сочетание слов «национальная культура» указывает на факт вольной или невольной ответственности культуры за историческую судьбу народа, ее создающего и ею создаваемого. Кто-то готов видеть в культуре лишь сокровищницу артефактов для эстетического удовольствия и душевного развития; их право. Но эта статья обращена к тем, кто признает конструктивную роль национальной культуры для жизнеспособности страны:

для национального взаимопонимания,
для вменяемости общественных отношений,
для выработки ориентиров общественной мысли.

Увы, перечисленные задачи в России едва ли выполняются, а предлагаемые «классической» русской культурой координаты все хуже ложатся на карту реальности. «Лучи света» и «темные царства», «народ и интеллигенция», «Европа и Россия», «Долой самодержавие!» или «За царя и отечество», «дворянство и большевизм», «Петр и Пугачев: власть и стихия», «Маленький человек и безжалостный мир», «Хорь и Калиныч», «Штольц и Обломов», «Героический бунт и теория малых дел», «Тварь я дрожащая» или «будем как Солнце» и т.д. — в вариациях на подобные литературные темы полтора столетия бился прибор

живой мысли, исторических драм, судьбоносных решений. А теперь вода ушла. Осталась словесная пена, взбиваемая инстинктами «культурного воспитания».

Русская классика и в наши дни отзеркаливает множество узнаваемых архетипов, над которыми можно потешаться или которыми ужасаться, но не позволяет даже формулировать рабочие вопросы, подразумевающие возможность толковых решений, а не только патетических реплик.

Когда же символический язык культуры оказывается недееспособным, его роль с удовольствием берет на себя alter ego русской «высокой» культуры, ее «черный человек» — незатейливая мифология имперского нарциссизма, убогого поклонения насилию и веселого презрения к человеческому достоинству и жизни.

«Вознесение» в фэнтезийные построения на мистические и/или геополитические темы вкупе с падением в пещерный примитивизм при выборе инструментов социально-политического действия — естественный результат отсутствия «общественной отдачи» от культурного наследия.

3

Теперь о выборе. Мы не можем легко поменять культуру, но можем по-другому ее увидеть, по-другому осознать.

Многовековая национальная культура всегда значительнее того, что под ней в какой-то период интуитивно подразумевается большинством. Здесь уместна аналогия со спектром видимого света: глаза фиксируют лишь узкую часть диапазона реальных электромагнитных волн — ту, на которую они настроены. Так и культурное восприятие настраивается общественными традициями на свою «длину волны», позволяя воспринимать в качестве значимого лишь избранный слой культуры.

Мы не можем по своему произволу заменить русскую культуру другой, но вольны перенастроить свой взгляд, опознать, «расцветить» прежде «невидимые» части спектра. Тогда у нас есть шанс обнаружить качественно иные стратегии культурного мышления, множество нетривиальных ориентиров, неожиданные модели социально-культурных решений, — опирающиеся притом на родную для нас почву.

На самом деле «переоткрытия» культурного прошлого — норма национального развития.

Два масштабных отечественных примера:

русская средневековая иконопись — которая для Пушкина и его друзей вовсе не представлялась искусством — была переоткрыта к началу XX века в качестве уникального достояния мировой культуры;

русская религиозная философия, к которой небрежно и полуиронично относились современники, запретная и забытая почти все советские годы, в конце 1980-х вдруг торжественно воскресла и стала одним из главных идейных ресурсов эпохи перестройки¹.

«Высокая литература» два столетия ощущалась в России не только главным «нервом» восприятия современной жизни, но и главным источником общественного самосознания. Теперь нам жизненно важно обнаружить в качестве актуаль-

ного творческого наследия гораздо более сложную картину русского культурного опыта.

Тема этой статьи требует аккуратного подбора слов и уточнения многих нюансов. Вряд ли это во всем получится — тем более, что обобщенное изложение принуждает к лаконичности. Вынужден заранее просить прощения за недостаточную корректность иных формулировок, за то, что буду опускать многие справедливые оговорки — увы, при беглом и широком обзоре этого не избежать.

Дальнейшие рассуждения я представлю в виде трех блоков тезисов с короткими комментариями-пояснениями.

Первый блок — иллюстративный и ретроспективный: о неслучайности явных трудностей с применением «культурных кодов» по-школьному понимаемой русской культуры в сегодняшних общественных отношениях.

Второй — указание на другие мощные слои культурной традиции, подсказывающие, как можно иначе «вырабатывать язык взаимопонимания», на основе чего формировать качественно иные образы будущего.

Третий (в связи со вторым) — варианты новых акцентов в поиске социально-культурных тактик и стратегий, в осмыслении общественных перспектив.

Глава II. Почему культура перестала «срабатывать»

Дальнейшие тезисы не носят полемического характера; я стремлюсь не доказать, а показать. Моя задача — попытаться поместить в центр внимания то, что обычно замечают в лучшем случае «боковым зрением», обозначить это как ресурс для осмысления возможных образов лучшего российского будущего и способов движения к нему.

Но предварительно придется хотя бы пунктиром обосновать, почему «привычная» русская культура («школьная», «интеллигентская», «высокая» — нелегко подобрать точное слово, когда пытаешься отграничить то, что принято воспринимать самодостаточным и всеобъемлющим) закономерно перестала «срабатывать».

Вот три (задолго до меня замеченных) особых качества той системы координат, в связи с которыми раскрывается нам «высокая» русская культура. Перед нами:

- а) культура имперская,
- б) культура литературоцентричная,
- в) культура, «вертикально ориентированная».

По этим разделам и пробежим глазами.

Первый сюжет: Фантомные боли империи и имперские фантомы культуры

Вот ряд характерных черт, которые накладывает имперская традиция на «высокую» русскую культуру, придавая ей сегодняшнюю общественную беспомощность.

1. Пространство культуры очерчено властью.

«Родной дом» русской культуры воспринимается не как пространство расселения народа или историко-географическое «ядро» нации, а как территория внутри имперских границ². Внутри них — все наше, уже завоеванное. Зато за границами империи — все чужое, «эмиграция и ностальгия».

2. Варианты отношений с государством: бунт, восхваление, смирение.

Доминируют три культурных архетипа гражданской позиции: или пылкая солидарность с властью — или смирение/убегание «в широкошумные дубровы» — или противостояние и бунт. Спокойный диалог с государством или же строительство общественного пространства по-своему и независимо от государства у нас — нонсенс.

Жизнь-восторг и жизнь-протест, жизнь-страдание и жизнь-умиление — естественные культурные состояния. Жизнь-работа (в том числе духовная), жизнь-сотрудничество, жизнь-домостроительство, жизнь-радость, жизнь-понимание — куда более экзотичны.

3. Отношение к политике — мистически-напряженное.

Политика глазами культуры — это действия центральной власти и действия против нее. А все доступные для практического наблюдения, понимания, диалога средние и нижние уровни политики — лишь приводные ремни централизованной государственной воли, иногда оттененные случайными человеческими качествами отдельных чиновников/командиров/наместников.

Политика если и поворачивается, то «вся вдруг» и всегда непредсказуемо.

Заоблачные высоты имперской власти не рациональны, а мистичны. В отношении культуры к политике нет места разумности и ответственности.

4. В империи важны столица и фронт. Внутренняя провинция — инертна и единообразна.

«Высокая русская культура» всецело завязана на Москву и Петербург. Для нее существует жизнь столичная, жизнь провинциальная и «военный фронт» (Кавказ, Польша, Туркестан, Дальний Восток, линии фронта на конкретных войнах и т.п.). Провинция (вся! — на одной шестой части суши!) воспринимается и обсуждается почти единообразно; легкий экзотизм Сибири или Малороссии только подчеркивают базовое единство взгляда³.

Бажов, Писахов, отчасти Платонов — насколько ярки исключения! Но они лишь намекают, сколь многоликой могла бы предстать иначе организованная русская словесность⁴.

5. Ироническое отношение к «провинциальным недокультурам».

То «пограничье», которое мыслится как фронт — Польша, Грузия, Армения, в меньшей мере Финляндия и Средняя Азия — все-таки в центре культурного внимания и уважения. А вот те, кому суждено было оказаться «в тылу» — культуры Украины и Белоруссии, практически все национальные культуры нынешней России — в качестве серьезных явлений не воспринимаются. Судьба «провинциальных недокультур» — обогащать общеимперскую культуру, «сливаться в русском море». Служить для нее этнографическим материалом.

Глухота людей русской культуры к культуре украинской (бурно, ярко и убедительно разворачивающейся последние полтора столетия) уже не просто выглядит парадоксальной дикостью, а стала первой из сдетонировавших предпосылок русской национальной катастрофы. Пренебрежительная глухота к национальным культурам российских народов — столь же изумительна и столь же чревата бедой.

6. Привычная самооценка: русская литература — великая сверхдержава мировой культуры. Она самодостаточна, а ее вклад в мировое культурное развитие соразмерен военной мощи российской/советской империи.

Пока культура молода и плодотворна, пафос собственного величия — хороший катализатор развития. С годами полезна большая адекватность. Особенно теперь, когда можно подводить итоги фактического воздействия русской литературы на мировую культуру XX века.

Что мы обнаружим? Огромно влияние Л.Н.Толстого — похоже, его значение для развития мировой художественной мысли перевесит вклад всей прочей русской изящной словесности вместе взятой⁵. Половина оставшегося влияния придется еще на два-три имени: Чехов, Достоевский, полуанглийский Набоков. Совокупное влияние на мировую культуру прочих русских писателей едва ли превзойдет влияние литератур чешской или норвежской — литератур замечательных, но нимало не мыслящих себя культурными империями и самодостаточными сокровищницами ответов на любые вопросы.

7. Империя приучает мыслить рангами и регламентами, имперская литература — социальными типами и риторическими формулами.

Национальное государство может позволить себе опереться на общественные структуры, на гибкие механизмы обратной связи, на внимание к особенностям и подробностям. Империя не будет вникать в калейдоскоп ситуаций и не способна доверять кому-либо; в ней задаются простые и прочные повсеместные модели, алгоритмы, правила субординации. У империи — регулярность, чины и формы; у русской литературы — типичные представители, всеобщие идеи, узнаваемые положения.

«Высокая» русская культура в унисон имперскому стилю воспитывает в людях стремление свести конкретную ситуацию к известным схемам и архетипам; приучает развешивать ярлыки из общей культурной логики, а не пытаться понять ситуацию «по месту и времени», взглянуть на нее как на уникальный феномен⁶.

Второй сюжет. Цена литературоцентричности

Литературоцентричная эпоха русской культуры очевидно завершилась (попробуйте, к примеру, вообразить современную русскую поэзию организующей силой культурного пространства страны). Но тип восприятия культуры вполне прочен.

«Литературоцентричность» интуитивно понимают как резкое преобладание словесности над музыкой, пластическими и изобразительными искусствами. В таком перекосе культурных акцентов есть свои проблемные стороны (припомним дисгармоничность внешнего вида большинства наших городов и поселков),

но более существенно другое. «Литературный» взгляд на мир подавляет в русском культурном воспитании многие другие, не менее необходимые практики организации мышления, самосознания и взаимопонимания людей.

1. Литература подменяет собой религию и философию.

Любая европейская литература нового времени энергично вторгается в вопросы религии и философии, но мало у каких народов она по существу вытесняет их из культурного пространства, находится не в диалоге с ними, а замещает их собой.

Работа философа предельно строга и требовательна к интеллектуальным построениям; религиозное обсуждение жизненных вопросов сдерживается церковной традицией, аккуратностью изложения и моральными ограничениями. Но правила интеллектуальной дисциплины кажутся неуместными тем, кто привык строить мысль по литературным образцам с их установкой на художественное наитие и образную убедительность.

Привитая вольность литературного мышления дарит русским образованным людям «легкость в мыслях необыкновенную» в обсуждении вопросов любой серьезности и онтологической глубины.

2. Литература подменяет собой общественное знание и гуманитарную мысль в целом.

Литературу привыкли воспринимать как общественного учителя, источник рецептов того, «как нам обустроить Россию». Хотя на такой вопрос вроде бы призван отвечать большой ряд гуманитарных исследовательских дисциплин — от географии до социологии, от семиотики до психологии, от экологии до методологии научного знания.

В проектировании «обустройства страны» странно вытеснять изящной словесностью мысли и труды тех, кто учился не «чему-нибудь и как-нибудь» (что нормально и даже естественно для писателя), а несколько более основательно, кто вещает истины не по наитию, а излагает их в виде результатов серьезной работы, научного кругозора, исследовательского опыта⁷.

3. Литературное мышление подменяет собой правовое.

Привычка к бесправию в русской истории, конечно, не заслуга изящной словесности. Но в презрение к «формальному праву» она добавляет свою лепту. Традицию правового нигилизма литература усиливает своеобразным правовым утопизмом, умиляясь народной «жажде справедливости» в противовес европейскому «законничеству». Мол, милосердие и справедливость должны всецело торжествовать здесь и сейчас, иначе вся ваша жалкая юриспруденция — одно лицемерие.

Но закон никогда и нигде не торжествует безусловно; только идея закона, живущая в людях и их общественных отношениях, и порождает законосообразные практики, действия и поступки. Сначала закон оживает в людях — и только потом в государствах.

Когда же от представлений о праве отмахиваются как от иллюзии, то вскоре привыкают к тому, что искренняя эмоция — достаточное моральное основание для любого действия. Даже если последствия будут ужасны, а твое «чувство» навеяно очевидными внешними манипуляциями...

С этим очень удобно работать извне: сильнее нажать на регистр «праведной эмоции» — и воспитанный соответствующим образом человек чувствует себя вправе вершить любые преступления.

4. Исторические комплексы литературы программируют общественную закомплексованность.

В «литературоцентричную эпоху» русская культура вступила со зрелостью Пушкина и разгромом декабристов⁸. Эта родовая травма «вшила» в нее роковое восприятие истории, комплекс общественно-политического поражения, болезненное расщепление взглядов на народ, государство и «образованный класс»⁹, резкие перепады от радикализма к верноподданничеству и/или громко декларируемой аполитичности¹⁰ и т.п. Опыт взаимоотношений русской словесности и русской революции только закрепил эти невротизированные черты.

Третий сюжет. Вертикальная организация культуры: ее привычная ненормальность

1. Модель вертикальной динамики: вверх — отбор гениев, вниз — «продвижение» их трудов.

Образ централизованного культурного строительства подобен имперскому: «наверх» жизнь выгалькивает кандидатов в гении¹¹, вниз устремляется пропаганда их произведений.

Задача участвующих в культурной работе людей — послужить передаточными звеньями для передачи высокой культуры «в массы». А в целом русское образованное общество выглядит лишь фоном и ресурсом для деятельности «светил», оно обречено смотреть на окружение «гениев», как крепостная Россия на дворянство¹².

В реальности национальная культурная среда создается отнюдь не «передатчиками» и «пропагандистами достижений», а необычными и многогранными людьми, с уникальными судьбами и собственным значимым творчеством. Но зрение, настроенное скользить по «культурной вертикали», такую самобытность почти не замечает.

Характерна дистанция между столичной «культурной элитой» и миром трудовой интеллигенции: инженеров, учителей, врачей. Они рассматриваются не как основная часть культурного сообщества, не как соратники в создании культурной среды нации, — а лишь как «продвинутые потребители», досадное, но неизбежное «средостение» между «элитой» и мифологизированным народом.

2. Равнение на гениев.

Русская культура предстает прежде всего кругом вершинных литературных произведений и связанных с их создателями лиц и событий. Это кажется естественным: к кому присматриваться, как не к лучшим?

Да, биографии гениев — значимая часть национальной памяти; но если они начинают трактоваться как образцовые (что невольно и происходит), то с ролью учебных пособий справляются предсказуемо плохо.

Люди с гениальным призванием властно ведомы своим предназначением, множество вещей они «схватывают» не трудом понимания, а мгновенной

интуицией, жизнь свою зачастую ведут на износ, на разрыв, на пределе физическом, нравственном, интеллектуальном; они готовы двигаться по «лучу судьбы», невзирая ни на что. Попытка подражания подобному жизненному стилю с большой степенью вероятности оказывается или разрушительной, или деморализующей.

Основная же стилистика многих тысяч создателей культурного мира нации совсем иная: спокойная ответственность, вдумчивое сочетание решительности и осторожности, готовность считаться со многими и многим, заботливая внимательность не только к «провиденциальным собеседникам», но и к своим ближним.

Другие последствия равнения на гениев — в области гуманитарных исследований. Вот у нас великие поэты — а вот специалисты по ним. Вот гениальные музыканты, художники, физики и т.д. — и к ним приставлены соответствующие знатоки. Исследовательский (и соответствующий популяризаторский) аппарат настраиваются жестко специализированно. В результате те комплексные явления, которыми и держатся основные сцепления национальной культуры, или едва заметны, или сильно искажены (а то и вовсе невидимы).

3. Монолитность, закрывающая многомерность.

Русская поэзия (а во многом и вся русская художественная литература) двух прошлых столетий представляется нам практически единым произведением: она пронизана общностью сюжетов, ритмов, символов, идейных антиномий, пророчеств и их исполнений, перекличкой авторов и персонажей.

В этом ее великое художественное достоинство, огромная притягательная сила. Но эта же сила выступает и как затмевающая, заслоняющая собой отнюдь не монолитный, а многомерный характер русской национальной культуры в целом.

Когда на нашей памяти исчезла видимость круговорота культурных явлений вокруг привычного «литературного центра тяжести», то наглядная децентрализация культуры многими была воспринята как культурный распад. Оторопью от этого чувства отлично воспользовалось российское телевидение — оно взяло на себя функцию последнего симулякра централизованной культурной монолитности.

Степень убожества и инфернальности этой оси культурного единства показывает, что культуре в России больше не быть централизованной.

Вот только привыкнуть к тому, что твоя культура может говорить на очень разных символических, идейных и образных языках, — это отдельное открытие, отдельная душевная работа.

Другие миры русской культуры — не фон, не сырье, не обрамление, они — огромные явления, которые совсем иначе организованы, в которых мы обнаружим другие заботы, ценности, правила, способы самоорганизации.

О чем и поговорим далее.

Глава III. Русская культура на других частотах

Нашему обществу, чтобы выжить и удержать огромную страну в качестве своей общей родины, предстоит искать противоядия от большого ряда укорененных привычек:

- от культуры самоуверенного всезнайства,
- от культуры агрессивной сентиментальности,
- от традиции действовать «по наитию» там, где важно действовать по уму,
- от высокомерия к культурам большинства народов, с которыми суждено жить рядом,
- от нежелания присматриваться к той реальности, которая не соответствует нравящимся схемам,
- от общественно-политической невротичности,
- от привычки смиряться со сверхцентрализацией всего и вся.

Для этого потребуется разыскать то, на что мы сможем опереться. А для этого вспомнить:

такую русскую культуру, которая не путает душевность, эмоциональность с духовностью, в которой принято соразмерять умозрительные построения и конкретные дела;

русскую культуру, которая не состояла в симбиозе с имперским мышлением и не испытывает комплексов перед государством;

русскую культуру, которая «горизонтальна» и объединена взаимодополняющим многообразием.

Эта глава — не каталог, а набросок, не строгий перечень, а первые приходящие на ум примеры автономных миров русской культуры, достойные обсуждения.

...«Областничество» и культура региональной идентичности. Культура научная. Культура крестьянская. Культура в «горизонтальном» рассмотрении: где «узлы» важнее «вершин». Культура педагогическая. Культура, созданная для мира детства...

Попробуем взглянуть на все это не как на периферию, а как на равноправные «центры сил», мощные основы для полицентричного («федеративного», если угодно) понимания национальной культурной жизни.

1. Культура в «горизонтальном» измерении: когда «узлы» важнее «вершин»

Сперва взглянем на мир относительно привычных имен, но поменяем угол зрения. Наметим систему координат не по гениям, не по вершинам, а по тем личностям-явлениям, которые играли особую объединяющую и организующую роль в культурном пространстве.

В русской истории канонизирован лишь один образ человека универсальных культурных интересов — М.В.Ломоносов. Далее культурная преемственность привычно выстраивается уже «специализированно» по известному шуточному определению: «Ломоносов роди Державина, Державин роди Жуковского,

Жуковский роди Пушкина, Пушкин роди Лермонтова, Лермонтов роди Некрасова...»

Но попробуем повести «силовые линии» культуры не по литературному лидерству, а по людям с особой многогранностью творчества и особым масштабом созидательного вклада в русскую культуру.

Какого рода фигуры возникнут перед нами?

Вот ближайший друг и наставник Державина — Николай Александрович Львов. Он значительный поэт, но, конечно, меньший, чем Державин. Оригинальный и выдающийся архитектор — но все-таки не столь масштабный, как Михаил Казаков или Джакомо Кваренги. Львов — замечательный ученый-исследователь и изобретатель «инновационных» строительных и отопительных технологий, но вряд ли войдет в число первых ученых века. А еще — музыкант, гравер, драматург, переводчик, издатель летописей, собиратель народных песен и основоположник пейзажного садоводства. Еще важнее другое: объединив множество сторон культуры в своей личности, он соединял между собой ключевых творческих людей эпохи. Состоялся бы тот же Державин без литературного, художественного и музыкального кружка, собравшегося вокруг Н.А.Львова? Не факт. И нелегко решить, кто из них послужил более необходимым звеном в развитии русской культуры.

Следующий не безусловный, но вероятный «универсальный герой» — Николай Карамзин, все-таки получивший достаточное признание и в представлениях не нуждающийся.

Кто далее? Я бы наметил так.

Директор Публичной библиотеки¹³ Алексей Николаевич Оленин.

Редактор журнала «Московский телеграф» Николай Алексеевич Полевой¹⁴.
«Любомудр» Владимир Федорович Одоевский¹⁵.

Историк и правовед Константин Дмитриевич Кавелин¹⁶.

Все имена небезызвестные, но школьные учебники сообщают о них в лучшем случае парой строк.

Конечно, В.Ф.Одоевский — меньший писатель, чем Лермонтов или Гоголь; Н.А.Полевой менее тонок в качестве литературного критика, чем Пушкин, а слог Кавелина не претендует на художественность тургеневского. Но в остальном их исследовательские, теоретические и публицистические работы, взгляды на вещи, страницы их биографий, образ их жизни и круги общения — все это предстает, ей-богу, не менее ценным и мудрым, чем аналогичные сведения о Пушкине, Блоке или Достоевском, что уже полтора десятка лет перебираются тысячами исследователей по строчке под микроскопом и выставлялись миллионам читателей как образцы национального мышления и миропонимания.

Если равняться на перечисленные выше имена, то картина русской общественной мысли предстанет нам достаточно непривычно.

Никакой «роковой обреченности» — торжествует уверенность в личной возможности каждого образованного русского человека влиять на будущее страны.

Вместо интуитивных оценок и призывов — стремление к предварительному изучению предмета, рациональному расчету, взвешенному решению.

Вместо «слушания музыки революции» — выработка способов согласовать, договорить, уравновесить интересы разных идейных и общественных сил.

Вместо взгляда на прошлое как на историю вождей и народных масс —

внимание к человеческому измерению истории, к отпечаткам личности и творческих усилий разных людей.

Вместо умиления русским народом или испуганного презрения к нему — трезвая оценка и активное участие в его развитии¹⁷.

Вместо риторических крайностей в высказываниях — сочетание сдержанности суждений с их прямоотой и независимостью.

Вместо метаний от бунтарства к верноподданничеству — работа по «примирению начала свободы с началами власти и закона»¹⁸.

Разумеется, предложенный список — лишь вариация на тему; выбор имен должен быть расширен и может быть оспорен — важно, что перед нами иной тип культурного лидерства.

Роль этих людей — не прорывная, а согласующая, примирительная для современных им противоречий, а в то же время — запускающая «долгоиграющие» культурные механизмы на десятилетия вперед.

Известен афоризм Лао Цзы: «Самый мудрый правитель тот, о котором знают только то, что он существует». Влияние лидеров «горизонтальной культуры» растворяется в сложных процессах, их «наставничество» незаметно, но плодотворность усилий громадна. Они вырабатывали культурные практики, задавали конструктивные способы сотрудничества (в том числе общества и власти), создали инфраструктуру выживания и развития культуры¹⁹.

Но главное для нас — все-таки не личный вклад этих нескольких замечательных людей, а ярко выраженный на их примере тип культурного деятеля²⁰. Ведь в каждой губернии находились десятки людей, чьи действия и усилия были им созвучны, сонаправлены.

Лидерство такого типа людей неочевидно в масштабах всей России, но несомненно — в создании культурных традиций в масштабах местных и областных. Своих Пушкиных и своих Некрасовых во всех губерниях не заведешь; зато повсеместно обнаруживались свои Оленины, свои Полевые, свои Одоевские, свои Кавелины. Ведь главная ткань «провинциальной» культуры — не гениальные литературные произведения, а запечатленные в памяти людей усилия по обустройству осмысленной и одухотворенной жизни.

Реальная, действенная доселе русская культура XIX века — не только страницы поэтических книг. Это культурные артефакты, сохранившие свою особенную силу в каждом месте: от зданий до бытовых правил приличия, от опыта с умом организованных когда-то хозяйств и предприятий до собранных музейных экспозиций, от памяти о культурных событиях до традиций школьного обучения — все это возделывало и возделывает души и характеры множества людей. Это наследие позволяет нам доселе видеть в окружающих людях столь много доброго и осмысленного, когда, казалось бы, все должно быть глубоко безнадежно в стране с такой внешней историей, как российская.

2. Культура региональной идентичности

Здесь нам потребуется несколько «цветофильтров». В традициях сопричастности культурному ландшафту, историческому пространству, ценностям и

нормам региональной идентичности — мы обнаружим целый ряд сцепляющихся друг с другом, но существенно различных слоев.

А. Краеведческий слой. Как только в России намечалось расширение «свобод», первой волной обновления жизни прокатывался внезапный и бурный расцвет краеведения: исследований, изданий, всеобщего интереса и соучастия. Так было в начале XX века, затем — в 1920-е годы, потом — в 1960-е; наконец, на наших глазах — в 1980-е. Но следом краеведение столь же внезапно стухивало, вновь откатывалось на третий план, вновь оборачивалось смешным факультативным занятием (разве что снабжающим очередное местное начальство декоративной атрибутикой). Чаще спад выглядел естественным исчерпанием интереса и административных ресурсов, но иногда (как в конце двадцатых) обеспечивался и специальным силовым разгромом.

Подозреваю, что сказывалась внутренняя логика сюжета.

Первый такт очередной волны любознательности выносит в центр краеведческого внимания те ценности, что соответствуют общероссийской «культурной матрице», всем понятны и укладываются в раздел музейно-архивно-издательских забот. А вот далее высвечивались факты более странные, требующие каких-то новых способов обсуждения; следом совокупность «краеведческих» фактов увязывалась внутри себя и уже ошутимо резонировала с современностью. Проявлялась реальная Россия в своем историческом и пространственном развитии — слишком разная, слишком нестандартная.

Шутки заканчивались.

Во-первых, краеведение начинало свидетельствовать об уникальных объективных потребностях своего места, пространства и населения, никак не укладывающихся в имперское администрирование; за его политической наивностью вдруг проступали требования прав на самоорганизацию и самоуправление.

А во-вторых, при осмыслении калейдоскопа любовно перебираемых чудачками-краеведами достопримечательностей, загадок и анекдотов, экспонатов и топонимов, цифр статистики, живописных руин и прочих «бирюлек» иной раз вспыхивали очертания громадных смысловых сдвигов, огромных претензий на признание региональной самобытности; намечались контуры особых «российских стран», взламывающих фактом своего существования привычные политические и культурные мифологии.

Б. Символический слой. Теперь предмет разговора переходит в другой регистр. Перед нами уже не достопримечательности и экспонаты, а символические машины, культурные матрицы, воспроизводящие из поколения в поколение особые типы самосознания и мироощущения.

При этом обнаруживается, что Россия — набор разных, порой противоречащих друг другу идентичностей. Что Россия — совокупность разных «стран», потенциально самодостаточных в своих не только экономических, но и культурных ресурсах. И что сам факт «русскости» и «нерусскости» населения этих стран второстепенен перед сложившимися здесь неформальными сводами правил, наборами адекватных стратегий поведения, природосообразными методами хозяйствования.

Выдающийся современный опыт раскрытия таких символических машин — исследования, книги и фильмы писателя Алексея Иванова

о «Горнозаводской цивилизации» — «Уральской матрице»²¹, о целом материке (как обнаруживается) своеобразной и многослойной культуры, который был всецело не замечен русской словесностью.

А речь-то идет едва ли не о главном регионе современной России, едва ли не ключевом для ее будущего.

«Уральская матрица» представлена А.В.Ивановым как история в пространстве, а не во времени. Такая история разворачивается, а не развивается. В ее пульсирующем времени мы не обязаны выбирать «путеводную нить» правильного изложения событий, вставать на чью-либо сторону в конфликтах эпох, людей и мировоззрений. («Где в каждом столкновении, в каждой истории — минимум две правды. А то и три, четыре или пять».) Зато мы можем и должны увидеть, что из открывшегося нам прошлого по-прежнему актуально, к каким противоречиям надо привыкать, чем нельзя пренебречь, что способно нас выручить.

Найдется и немало работ (пусть не столь художественных и не столь выразительных, как книги Алексея Иванова) об особых «культурных матрицах» Сибири, Поволжья, Русского Севера, разгромленных стран казачества, Новгородско-Петербуржского Северо-Запада...

Я бы посоветовал разыскать такой двадцатилетней давности учебник — книгу для чтения по краеведению И.Х.Салимова «Среднее Поволжье»²². Ирек Салимов разворачивает «матрицу» Поволжья более мягко и осторожно, чем это делает Алексей Иванов относительно Урала, но в схожем масштабе, при той же внимательности и глубине. Позволю себе процитировать пару абзацев:

«...Удивительным фактом остается неосознанность россиянами своей Родины как пространства. При этом как бы выпадает среднее звено. Есть Россия, есть Сибирь, Кавказ, Поволжье... А дальше сразу начинаются города или более мелкие местности. Потому что Ульяновскую область вряд ли можно рассматривать как название местности. Это скорее похоже на кличку раба: раб Нерона. Местность как бы не принадлежит себе, а становится второстепенным приложением к городу...

В основе краеведения лежит идея о феномене края, страны. Край — это индивидуальная действительность, которую нельзя разрушить административными границами. Наблюдения, описания, художественные описания, памятники культуры — это события самого ландшафта. Поэтому чтение краеведческого текста предполагает осознание страны, перенос в нее своей мысли. Попытка правильно понять край — одно из самых ответственных событий в жизни самого края»²³.

В. *Слой местных правил жизни*. Чем сплачивает империя? Фактом неумолимой силы, с которым все поневоле вынуждены считаться. Представители «имперского народа» — агенты этой силы, они чужды местным отношениям и презрительны к ним²⁴. Свой образ жизни они носят с собой.

Но на деле не менее значимы для «имперского народа» и противоположные качества.

Как только часть русского населения перестает выступать лишь внешней силой — в виде солдат, чиновников, «бюджетников», вахтовиков, как только начинает соотносить свою жизнь с окружающим пространством и обживать его как свою родину, она оказывается и «национальной», и самобытной. Русский

человек, например, в Башкирии становится равноправным носителем неписаного свода правил местной жизни: не в смысле принадлежности к национальной культуре башкир, а в смысле сопричастности культуре башкирской земли²⁵. В ходе такой «коренизации» русского населения между людьми разных национальностей интуитивно налаживается стремление понимать друг друга, учиться друг у друга, сосуществовать рядом и сотрудничать; видеть, помнить и ценить то, что помнят и ценят твои соседи.

Эти механизмы действовали веками, действуют и сейчас. Без них Россия была бы намного меньше нынешних размеров.

«Межнациональный диалог» в очень малой степени идет через изучение творчества поэтов, национальных историй и прочие «высокие материи». Он складывается в бытовом общении людей, в общем чувстве ландшафта, в чуткости к его культурным смыслам и символам, сохранившимся от разных эпох и народов²⁶.

Что это означает в культурном измерении? Речь идет о культуре человеческих отношений, воспринимаемой через ее исходные образы: освоение правил общения, ритуалов гостевых встреч, обычаев трудиться и праздновать, народных песен, практик хозяйствования или путешествий в местных ландшафтах.

В такой среде складываются и личная культура человека, живущего у себя на родине, и общее культурное наследие представителей разных народов, живущих на одной земле.

Национальная культура любит противопоставлять себя иным; она и сознает себя во многом по контрасту с другими. Культура региональной идентичности, напротив, — учит понимать, связывать, сглаживать различия, смягчать, а не обострять отношения.

Г. Проектный слой. Вместо объяснений — два примера-легенды о людях, создавших особые российские столицы эпохи перестройки: Пензу — центр российского краеведения и Красноярск — столицу российского образования.

Георг Васильевич Мясников, второй секретарь Пензенского обкома КПСС, начинал еще в шестидесятых. Двадцатилетие он двигался к тому, чтобы Пенза стала примером в деле исследований родного края, «Меккой» для краеведческих и музееведческих встреч²⁷.

«Историко-культурный рай» был сотворен из города, казавшегося захудалым, серым, малоизвестным. Ведь Пензенская область была когда-то «белым пятном» на культурной карте на взгляд не только среднего советского человека, но и собственных обитателей.

Мясников добился открытия множества музеев: от уникального по замыслу «Музея одной картины» до музеев Ключевского, Бурденко, Мейерхольда, Куприна. Он обязал райкомы и парткомы создать музеи на всех крупных предприятиях, в организациях и учебных заведениях. Он ставил один за другим памятники — от каждого скульптора добиваясь и выразительности, и неповторимости (будь то Денис Давыдов «с хитринкой и лукавым лицом», первопоселенец с копьем и плугом или единственный в стране «Лермонтов без погон» в Тарханах).

Пример второй. Советский Красноярск был поизвестнее Пензы: Енисеем, индустриальными показателями и значением для ВПК. Но к восьмидесятым годам в Красноярске сложилось поколение людей, желающих переделать свой

край из индустриально-сырьевой колонии в страну, приспособленную к жизни людей; в мир, который не стыдно считать своим домом.

Быть может, решающим «ферментом» для успешного воплощения таких настроений стала деятельность профессора-физика из Новосибирского академгородка Вениамина Сергеевича Соколова, который в 1975 году становится ректором Красноярского университета (а позднее и вторым секретарем крайкома). По воспоминаниям современников тех событий, Соколов намечает определенный план: резкое изменение культурной ситуации в крае за счет стремительных перемен в школьном образовании; базой для этих перемен становится университет, а «ядром» университета — специально создаваемый психолого-педагогический факультет с собственной экспериментальной школой.

К середине 1980-х В.С.Соколов приглашает в Красноярск на временную или постоянную работу ведущих (и по большей части опальных) отечественных психологов, дидактов и философов; на волне начинающейся перестройки они разворачивают в крае свои образовательные практики в сотнях классов, множестве учительских аудиторий и студенческих групп. Вскоре Красноярск уже служит главной опорой для складывающихся общественно-педагогических ассоциаций, новых научных, проектных и управленческих команд в образовании. (А лидерство в осмысленном реформировании школ Красноярский край уверенно сохранял до конца 1990-х годов.)

Всплеск регионального развития и самосознания в стране был почти повсеместным; не менее значительным он был в Екатеринбурге, Казани или Томске; Красноярск и Пенза уникальны именно осязательностью усилий конкретных людей, притом движимых не политическими, а социально-культурными целями.

Проектный культурный слой региональной идентичности существенно дополняет остальные:

он обращен не к прошлому и настоящему, а преимущественно к будущему, он рационален и рефлексивен,

он опирается не только на местные силы, но «фокусирует» творческий потенциал людей со всей страны.

Со временем и в Пензенской области, и в Красноярском крае многое снівелировалось; города эти уже не так ярко выделяются и не столько притягивают выдающихся людей, сколько отдают своих Москве.

Но фактом культуры стал в перестроечные годы удивительный для русской истории успех региональных политических проектов: без привычного насилия, без истерического пафоса запугивания и «продавливания», без переламывания кого-либо через колено. Зато реализованных решительно и последовательно, с умелым согласованием разных интересов, собственных и общероссийских возможностей, интеллектуальных усилий и моральных ценностей.

3. Научно-центрированная русская культура

Что Блок родился в «ректорском флигеле», положено знать каждому петербуржцу. Куда простительней ничего не слышать о том, что тот самый ректор, дедушка Блока — А.Н.Бекетов — крупнейший русский ботаник, основоположник географии растительности в России и фактический создатель

высшего образования для женщин в нашей стране («Бестужевских курсов²⁸»). И совсем мало кто решится подумать, что Бекетов, пожалуй, не менее значим для русской культуры, чем его замечательный внук.

Культурный человек обязан помнить, какова фамилия убийцы Лермонтова, из какого села Есенин и как звали любовницу Маяковского. Но для миллионов россиян с высшим образованием вполне прилично никогда не слышать имен А.А.Фридмана и Г.А.Гамова, создателей теории «Большого взрыва» (людей, ни много ни мало впервые представивших научно достоверную историю Вселенной!); Б.С.Якоби — изобретателя первого электродвигателя и открывателя гальванопластики; П.А. Сорокина — одного из создателей социологии XX века и т.д.

Знание о научном мире для русского гуманитарного взгляда распадается на два раздела: «история техники» и «биографии ученых». Оба они факультативны и периферийны в культурном сознании.

Что если посмотреть несколько иначе?

Многим памятен недавний фильм Леонида Парфёнова «Зворыкин-Муромец», который трудно назвать научно-популярным: судьба и деятельность В.К.Зворыкина предстают зрителю именно как явление русской культуры. История техники, приключенческая биография и прочее лишь помогают увидеть главное. Точно в той же мере, как история литературы и биографии писателей помогают постигать нечто важное в словесном искусстве. Там — понимание художественных произведений, здесь — понимание пути творческой мысли, картина преемственности и противоборства научных школ, сложная сфера ценностных явлений, пульсирующих вокруг мира науки. И там, и там — свой опыт осмысления человеческих возможностей, общественных событий, моральных ценностей.

...Вообразим: вдруг стерта культурная память русского народа со всеми ее свидетельствами; удалось восстановить лишь ту ее часть, что связана с российской наукой последних трех столетий. И вот предстоит, опираясь только на этот контекст, воссоздать нормы национальной жизни и культуры.

Могло бы получиться не так уж плохо.

Что за типы культурного мышления оказались бы нашими опорами?

Во-первых, сам образ жизни ученых. Столь не вяжущийся с литературно-упорядоченным образом русского человека: перед нами по преимуществу мир упорядоченных, отчетливо и ответственно действующих людей. Характерны известные книги Даниила Гранина об А.А.Любищеве («Эта странная жизнь») и о Н.В.Тимофееве-Ресовском («Зубр»): они, собственно, не о научной стороне дела, а именно о культуре самоорганизации личности, опыте самостоятельного человека и мудрости выбора своего пути.

Во-вторых, норма осознания своей культуры в пространстве культуры мировой: в тесной связи и по единым правилам.

Известен период приписывания всевозможных открытий русским изобретателям (как несколько ранее в Германии взвешивали меру арийской крови); самое забавное, что эти попытки возвеличивания радикально умаляли реальный масштаб российской науки²⁹. Патриоты всех стран любят чваниться размерами «нашего вклада» в мировую науку. Но наука — не банковский сейф, «вкладами» не измеряется. Сами ученые ценят совсем иное: укорененность мировой мысли в родном для себя пространстве.

Чем выше интенсивность международных взаимодействий национальной науки — тем она значительнее, сильнее, самобытнее.

Кого мы видим главными фигурами отечественной науки XVIII века рядом с Ломоносовым? Прежде всего тех, кого в число «русских ученых» казалось вносить как-то неловко. Первым в ряду окажется крупнейший математик столетия Леонард Эйлер — проживший полжизни в Петербурге³⁰, и только прямыми учениками которого считали себя шестеро русских академиков. На следующее по рангу место мог бы претендовать великий естествоиспытатель Петр Симон Паллас («природный пруссак, отдавший всю жизнь России»). Дальнейший список каждый может продолжить по вкусу с помощью Википедии.

И в XIX веке биографическая двух-трехмерная национальная принадлежность великих ученых оставалась для России нормой, а не исключением. Можно умиляться самородкам, чей ум возник из ниоткуда и развился к своим открытиям от сверхъестественной русской смекалки. А можно гордиться другим. Что у Лобачевского и Гаусса был общий учитель — Мартин Бартельс, уехавший в Россию от наполеоновских войн, задавший уровень математики и астрономии сначала в Казанском, потом в Дерптском университете (а косвенно — и в Пулковской обсерватории). Что Альфред Нобель вырос в Петербурге и выучился химии у Н.Н.Зимины, что Ландау и Капица были равноправными участниками европейского сообщества великих физиков, раскрывших за несколько десятилетий тайны атомного ядра, что эмигранты Мечников и Сикорский смогли во Франции и Америке стать великими национальными учеными. Что великий лингвист И.А.Бодуэн-де-Куртенэ, несомненный и патриотичный поляк, вместе с тем может считаться и стопроцентным российским филологом, определившим интеллектуальную среду развития отечественной лингвистики в начале XX века. И прочая, прочая.

Вообразить актуальную для нас русскую культуру «научоцентричной» — занятная задача. Но именно задача: ведь обзорной картины российского научного мира как культурного явления не существует даже в наброске; она разбита по отраслям знания, по персоналиям, по учреждениям, по жанрам изложения и т.д. Увидеть мир культурного наследия российской науки, объединенный одновременно и внутренней цельностью, и тесной связностью с мировой научной мыслью, еще никто толком и не пытался.

4. Культура мира детства

Отвечая на вопрос, почему в школах обязаны проходить тот или иной набор «классических» произведений, зачастую с умным видом заявляют: «Так закрепляется культурный код нации!»

Но попросите своих знакомых задуматься и, положив руку на сердце, ответить: какой именно «культурный код» чаще позволял находить с полуслова, с полушутки взаимопонимание с соотечественниками: из «России Тургенева и Достоевского» — или же из России Чуковского и Заходера, Эдуарда Успенского и Кира Булычева, Евгения Шварца и Николая Носова? По моим наблюдениям, вторая версия стабильно выигрывает. Можем еще спросить о том, какой круг

произведений покажется нашим собеседникам более надежным и действенным источником светлых, добрых и умных чувств...

Михаил Яснов свою книгу о детской поэзии³¹ завершает так: «У нас давно уже есть национальная идея, способная объединить всех от мала до велика, — это детская литература, детская поэзия. На одних и тех же произведениях воспитывались все, кто сегодня представляет нашу страну в политике и промышленности, бизнесе и культуре. Но игра в стихи — опасное дело: в такой игре юный человек учится думать. Неспроста же именно детской литературе оказалось по силам пробуждать объединяющие всех чувства — любви, гордости, сострадания, совершенствования, то есть чувства понимания и удовольствия, которые так необходимы детям в общении друг с другом и со взрослыми».

Не раз отмечалось, что именно детская сказка, поэзия, литература, культура детства в целом выполняет ныне древнюю роль мифа, введившего ребенка в социальные и культурные структуры общества, делавшего его человеком общественным³². А впечатления от детской литературы отличаются особой глубиной восприятия и закрепляются в сознании на всю жизнь.

Удивит ли вас такой лозунг: «Культура для детей — основа национальной русской культуры»?

А ведь его принятие смотрелось бы итогом выстраданного исторического пути. Ядро советской детской литературы было очень непростым в своем происхождении и исполнении³³, оно удивительно в своем культурном потенциале и создавалось людьми исключительных талантов³⁴. Оно выросло из «высокой» словесности подобно «плоду на дереве», но отличалось очень многим.

Пожалуй, первое среди отличий: перед нами мир культуры всецело демократической — *великого искусства, понятного всем*.

У советской детской литературы хорошо известен исток ее масштабной истории: творчество Корнея Чуковского. Вот как обсуждает его М.С. Петровский: «Длинной ×фантастической мыслью× Чуковского — или ×темой жизни×, как он сам это называл, — был синтез демократии и культуры, *демократическая культура*. Вот откуда у Чуковского многочисленные подступы к литературе для детей — быть может, самому естественному проявлению демократической литературы. Отсюда же проистекает стилистика его критических и литературоведческих работ, словно бы нарочно приспособленная к тому, чтобы говорить о самых сложных и высоких материях с самым простодушным читателем и одновременно радовать вкус читателя изощренного...

Удивительно ли, что именно Чуковский открыл и впервые описал в 1910 году то явление, которое ныне широко известно под названием «массовой культуры», «кича» и т.п. Чуковский не устал доказывать, что кичевое искусство — при некотором внешнем сходстве — противоположно демократическому. В «киче» он открыл своего главного врага. Вирус пошлости, эстетическую дешевку, расхожий заменитель красоты, всякого рода литературный ширпотреб он разоблачал и предал публичному осмеянию — от ранней статьи о «Третьем сорте» до самых поздних, вроде статьи с выразительным названием «О духовной безграмотности»³⁵.

Культура духовной грамотности — формула, столь странно и столь точно звучащая по отношению к игровым, задорным, отнюдь не морализаторским произведениям. Ибо основы такой культуры пропитаны противоядием от пошлости, озлобленности, отчужденности³⁶. В сравнении с инерционностью

русской «взрослой» словесности — перед нами сверкает искусство быстрого переключения:

от бодрого и веселого — к сочувствию и состраданию,

от забавы к делу, от развлечения — к усилию,

от увлечения своим замыслом — к незащоренной чуткости относительно рядом происходящих событий.

Эта привычка быть чутким к незапланированному, искусство своевременной и уместной смены внимания — то, чего сильно не хватает в российской даже бытовой жизни, не говоря уже про общественную, культурную или политическую.

...Культура неустанно раскрепощающая, но приучающая к сосредоточенности, а не разболтанности. Культура игровая, но чуждая легкомыслию. Культура задорно предлагающая, но и внимательно прислушивающаяся, присматривающаяся к читателю-собеседнику.

Отметим еще пару особенностей.

Мир культуры для детей не очень-то литературоцентричен. Детские проза и поэзия даже внутренне устроены так, словно ждут своих перевоплощений в театре, в иллюстрациях, в мультфильмах³⁷, в семейных розыгрышах, в сценариях жизни подростковых клубов, в самом искусстве книги... «У Чуковского было основное требование к сказке: чтобы к каждой строчке можно было нарисовать картинку», — так вспоминал Валентин Берестов. Сам жанр детской книги сложился в 1920-е годы как равноправный труд писателя, художника и редактора. «Сочетание изысканности — и демократизма, оформительской щедрости — и вкуса, озорной раскованности — и почти математического расчета, причудливости сказочного образа — и непонятно откуда возникающего, но выпуклого и достоверного образа времени», — такова характеристика первого книжного издания «Приключения Крокодила Крокодиловича» 1919 года с рисунками Ре-Ми.

Изысканность и общепонятность, раскованность и расчет, причудливая фантазия и точность, жизненность впечатления — достойная формула слагаемых русской культуры для детей.

Занятно, что традиции нашей детской литературы (в отличие от взрослой) продолжают оставаться языком международного взаимопонимания. Когда последние годы детские писатели из разных постсоветских и восточноевропейских стран собираются на свои фестивали то в Грузии, то в Эстонии (а это и литовцы, и украинцы, и армяне, и поляки, и белорусы, и финны, и даже россияне, хоть и в небольшом числе) — то ориентиры детской культуры советской эпохи по-прежнему остаются объединяющими и всем близкими.

И еще одно. У разных поколений одной семьи, разумеется, разные увлечения и культурные интересы. Но настоящая детская литература способна «срабатывать» как удобная общая платформа для взаимопонимания между всеми поколениями — младших и старших детей, родителей, дедушек с бабушками. Ведь для взаимопонимания сегодня важно не только учитывать то, что взрослые могут поведать детям, но и угадывать другое: то, чем детство может быть значимо для взрослых.

5. Педагогическая культура

Что про нее достаточно знать русскому человеку до общей нормы? Что был такой Ушинский — чем-то там великий в свое время, а еще Макаренко, который трудных подростков строил в шеренги и перевоспитывал.

Прочие подробности — дело «шкрабовское», скучное, техническое.

Немногие догадываются о масштабе отечественной педагогической мысли — истории опытов и усилий, открытий и развернутых культурных практик, «художественно-методических» произведений и образовательных проектов. Что этот творческий мир не менее велик, своеобразен и увлекателен, чем мир литературный или научный. Что культурное пространство российской педагогики освещено двумя десятками только по-настоящему великих имен мирового значения и раскрывается в тысячах выдающихся культурных явлений. Что если выбирать стержень культурной истории страны последних двух столетий, то история педагогической мысли убедительно претендует на роль главного кандидата³⁸.

Легко вообразить, что означает отсутствие в обществе эстетической культуры или практической грамотности.

А что означает слабость культуры педагогической?

Всегда есть два альтернативных подхода к любым проблемам: один воспитывается педагогической культурой, другой — политическими инстинктами. Лаконично их можно выразить противоположностью двух формулировок:

«Надо, чтобы...»

«Чтобы — надо...».

Собственно, педагогическая культура — это разнообразная мудрость про создание условий для становления сложных явлений (таких, например, как человек).

Политическое решение: придумать цель. Затем — план ее достижения и потребовать исполнения; кто не соответствует — наказать и исправить³⁹.

Решение педагогическое: если вы чего-то хотите, то сначала нужно понять, какие для этого требуются условия. Потом — постараться эти условия создать⁴⁰. Заодно учесть вероятные побочные эффекты. (Если же условия не складываются или эффекты недопустимы — займемся исправлением целей.)

Переход от позиции «надо, чтобы...» к формулировке «чтобы — надо...» — это переход от логики насилия к логике культивирования.

Отсутствие педагогической культуры в обществе означает, что такой переход закрыт. Движение к лучшему будет вновь и вновь соскальзывать по сорванной резьбе на привычный виток насилия.

Известно наполовину шуточное, но и по-своему точное высказывание: «Педагогика — это то, как мы живем». Оставим в стороне практическое значение педагогических знаний для всякого обучения и семейного воспитания. Обратим внимание на три глобальных эффекта педагогической культуры:

- 1) она перенастраивает нашу мысль и соответствующий ей образ действия;
- 2) сколько-то существенный ее слой просто необходим для выживания в народе прочих культурных слоев;
- 3) самое удобное пространство для естественных позитивных общественных перемен — пространство взаимопонимания в связи с педагогическими задачами.

О первом эффекте мы упомянули. Теперь о втором.

Если в перегруженном культурными знаками пространстве у человека нет средств выстраивать свой «культурный космос», то изобилие может иметь худшие последствия, чем недостаток. Чуждая, навязываемая, но отторгаемая культура — огромная сила: давящая, раздражающая, невротизирующая, убивающая в человеке способность к мироустроению — и себя в мире, и мира вокруг себя. Нагромождения культуры, которые растущие поколения не способны осмыслить, принять, «переварить», превращаются в надгробные плиты над будущим.

На фоне такой ситуации именно педагогика становится главной отраслью культуры, без которой ничтожны по своему влиянию все остальные. Акт педагогически оформленной встречи с настоящей культурой все труднее чем-то заменить, и с каждым годом уменьшаются шансы на то, что такое произойдет естественным путем, без специальных умных усилий, без специально организованных культурных сред и пр.

Вот как об этом говорила Т.В.Бабушкина (выдающийся педагог-исследователь, воспитатель большого сообщества людей многих поколений, выросших за три десятилетия на базе ее легендарного клуба): «Когда стараются дать как можно больше знаний о культуре, думают, что этим мы делаем культурного человека. Но здесь ошибка. Мы просто водим ребенка мимо культуры, остающейся отчужденной. Она отчуждена объемом, отчуждена тем, что произошли резкие перемены, произошел скачок из тех культурных контекстов в какое-то вроде бы совершенно другое житейское пространство. Масса нажитого в культуре стала так велика, что оказывается неподъемной, непробиваемой для детей. Культура нависает пластами, которые детьми воспринимаются как мертвые. Мы подводим ребенка к культурным явлениям, а контакта нет; словно мы его подводим, а вот там, за какой-то перепоночкой, существуют себе культуры. Поэтому мне кажется, что на современном этапе более важной вещью, чем передача объема культуры и даже ее качественных принципов, является *прецедент культуры*. <...>

Это мне напоминает *проклевание цыпленком яйца*⁴¹.

Подобная задача не решается ни культурной, ни даже образовательной политикой — только грамотной педагогической практикой.

Такова негативная оценка ситуации: в чем не обойтись без педагогики. Но есть и обратная сторона дела — возможности педагогики как ресурса позитивных общественных перемен. А именно:

использование образовательных проблем для налаживания согласия и взаимодействия в местном сообществе между людьми различных убеждений;

использование «детского измерения» социальной действительности как приемлемой для всех основы выбора приоритетов и формулирования общих правил местной жизни.

Все это может начинаться через простую причастность людей к жизни окрестных школ и детских садов. Неслучайно во многих европейских городках именно школы и сады — центры притяжения всей местной жизни: ведь это идеальные места для встречи людей разных поколений, от трех лет до девяноста трех; здесь многое помогает не раздражаться друг на друга, а испытывать

взаимное восхищение, нежность, неожиданный опыт прозрения и взаимопонимания.

Культурно, грамотно с точки зрения педагогики организованные сады и школы — это институты защиты семьи и вместе с тем средства преодоления семейной замкнутости. Это повод для людей объединиться в каком-то общем деле и, может быть, увидеть в этом несложном деле, за детскими забавами какие-то глубинные ценности, вдруг ощутить свою к ним причастность, ответственность за них.

Забота о детях в сотрудничестве с педагогами учит договариваться и действовать сообща, соревноваться в легком и естественном бескорыстии, переключаться со своих зачастую бесчеловечных социальных матриц на что-то близкое сердцу. Школы и детские сады дают шанс вместе с детьми и по поводу детей развиваться самим взрослым (впрочем, зачастую даже не развиваться, а просто «возвращаться к самим себе»).

Ведь главное не в том, что там «воспитывают наше будущее». Куда важнее, что отношением к школе или детскому саду определяется наше настоящее.

Именно поэтому они — основа национальной культуры.

б. Культура домашней жизни

Очень коротко о большом сюжете.

Если наугад заглянуть в местный музей где-нибудь в Скандинавии, то с большой вероятностью нас встретят экспозиции, воспроизводящие уклад жизни местных людей прежних десятилетий и столетий. Быт и труд в интересах своей семьи представлены чем-то изначальным, краеугольным. Первое, что считают важным показать в национальной культуре новым поколениям — это наглядная преемственность образов жизни, направленных на упрочение домашнего хозяйства, домашнего уюта, семейного согласия.

Умение жить у себя на родине,

умение жить своим домом —

вот базовые основы культуры любого народа, которые вытравлялись у нас с петровских времен — крепостничеством, с советских — устанем перечислять сколькими способами.

Привычность общаг, казарм, бараков, временных углов, где огромная часть населения проводила домашнюю жизнь, гармонично дополнялась советским идеалом «человека труда». За внешней мишурой его картонной героики пульсировала воплощенная во множестве людей антикультура отношения к труду как к мучению и подвигу (а заодно и к оправданию, индугенции от прочих грехов). Неважно, что ты сделал, чего добился, что принес полезного людям и своей семье — важно, что «тяжко вкалывал на трудовом фронте». Это делает тебя достойным работягой, имеющим право ни о чем после работы не думать (и о самой работе, и о семье в том числе). Наружным фоном этого «отдыхающего после труда сознания» наметился адский морок типового поселка городского типа, откуда монотонно доносятся злобные бормотания вроде: «...И так сойдет... Ишь, чего захотели... И своя-то жизнь полушка, а уж чужая... Чай не बारे...» и т.п.

Европейские народы ощутили реальность демократического уклада одно-

временно с тем, как сложились переходные формы между «крестьянским домостроительством» и «профессорским бытом». У нас же произошел разрыв прямо по «линии сшива»: метастазы бытовой антикультуры студентов-разночинцев были помножены на казарменные традиции и породили образцы взбаламученного революционно-обывательского быта.

Заращивание этой раны идет уже десятилетия и весьма далеко от завершения. Да и приобретает весьма специфические и уродливые формы⁴².

Но исторические традиции умного домашнего обустройства, взаимной семейной ответственности, гармоничных бытовых взаимоотношений с другими людьми и окружающим миром были у русских не слабее, чем у других народов. Более того, на них когда-то пытались делать «стратегическую ставку»: вспомним о своеобразном культе одухотворенного домашнего быта у русских славянофилов⁴³.

Поколение моих ровесников еще могло застать по северным селам двух-трехэтажные столетней давности избы и фрагменты умного уклада жизни свободного, не знавшего крепостничества русского крестьянства; тогда мы могли еще услышать высказывавшееся старшим поколением интимное отношение к своему хлебному полю, лесу, лугу, реке, дому, церкви, односельчанам...

Наследию крестьянской культуры пришлось тяжелее всего; ее долго примитивно мифологизировали (то с умилением, то с уничижением), потом оклеветали (в немалой мере литературные светочи типа Максима Горького) и следом большей частью уничтожили⁴⁴. В конце XX века «археология» русской крестьянской Атлантиды была осознана большим кругом людей как особая обязанность⁴⁵. Какова будет ее отдача — пока загадка. Культурная традиция русского крестьянства прервана, опереться на нее непосредственно вряд ли удастся. Но сами очаги успешной сельской жизни завтрашнего дня будут поневоле «образовательно-емкими», будут нуждаться и в какой-то переключке с ушедшей традицией, и в новом «крестьянско-профессорском» осмыслении национального дома и хозяйства.

Впрочем, культивирование семейной памяти о феноменах разумных укладов домашней жизни — дело всеобщее. Это ведь именно та часть национальной истории, что наиболее тесно переплетена с личной историей, с протянутой в прошлое и будущее семейной родословной.

7. Культура стойкости и ответственного гуманизма

Еще одно небольшое отступление; пара оговорок, чтобы несколько сгладить жесткость оценок «высокой словесности».

Ведь сама «высокая русская литература» — это культура не только Пушкина, Гоголя и Тургенева, но и Толстого, и Высоцкого.

«Великое искусство, понятное для всех» — у этой формулы демократического искусства есть и обратная сторона: культура уважения к человеку, культура личного выбора и ответственности за него. В этой связи хорошо известны, например, высказывания о творчестве А.П.Чехова⁴⁶. Но хорошо бы иначе взглянуть и на Льва Толстого — не только как на «вершину», но и как на универсальный «узел» культуры, да еще какой!

Филологам и идеологам привычно было видеть в толстовских религиозно-

этических поисках по преимуществу смешные причуды, в его педагогических работах — «барские забавы». Но время расставило иные оценки.

Прямым последователем «наивного толстовства» стал Махатма Ганди — не только философ и подвижник, но и один из величайших политиков XX века — человек, который привел к независимости целый континент, огромную Индию. «Непротивление злу насилием» выросло в огромную политическую практику. Идея ненасильственного сопротивления, революций стойкости и духовной силы (а не только озлобленности и террора) — в корне своем не индийская, не европейская, а наша, толстовская. Нам, русским, стоило бы гордиться этим не меньше, чем военными победами.

А сколько насмешек вызвала опубликованная в 1862 году статья Льва Николаевича «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» Сегодня она читается как один из важнейших поворотов мировой педагогической мысли. Толстой на полстолетия опередил замыслы общеевропейского движения «Новой школы»: внимательность к жизни детей, уважение к их возможностям, деятельный подход к учению, согласование школы с окружающими обстоятельствами и т.д. И в практике своей яснополянской школы, и в методике, и в теории он представил первообразы новых оснований педагогики на десятилетия раньше, чем это по-своему (и по его следам) осуществили на Западе Адольф Ферьер, Мария Монтессори, Джон Дьюи, Селестен Френе⁴⁷.

Теперь о поэзии.

«Русская лирика от Державина до Бродского» — примерно так принято именовать ныне разнообразные антологии. Только одно имя плохо вписывается в антологию, его или оставляют за бортом или пристраивают скромненько в общем ряду. Нет, все согласны, что речь идет о явлении исключительном, но каком-то автономном, ярком побочном эффекте: «Да, а еще у нас был и Высоцкий».

Но только творчество Высоцкого «как-то сбоку» не удержать; оно резко выступает своего рода вторым полюсом русской поэзии, на котором в той же мере сходятся все «силовые линии», темы и интонации, как и на творчестве Пушкина.

Здесь не место для литературных аргументов и дискуссий, но согласимся по крайней мере с одним: если какой поэт действительно объединяет русский народ, то уж точно скорее Высоцкий, чем кто-либо иной. Если понимать слова о «народном поэте» не как комплиментарную гиперболу, а буквально: когда личное отношение миллионов людей к определенному поэтическому миру становится фактом народного самосознания, истоком национальной солидарности, то именно В.С.Высоцкий занимает такое место в русской культуре. И подобный буквальный смысл едва ли приложим к Пушкину — великому поэту образованного общества; его-то поэзия до сих пор, несмотря на все усилия школы и государства, встречает отзыв у народного большинства разве что в детстве, разве что своими сказками.

Известно выражение Павла Флоренского: «Если есть Троица Рублева — значит есть Бог».

Несколько снижая пафос, но сохранив аналогию, я рискнул бы сказать так: в русской культуре есть Высоцкий — и значит, наше положение далеко не безнадежно.

8. А также... Несколько слов о «фильтрах внимания»

Поставим многоточие в нашем обзоре.

Очевидно, не упомянуто многое. Я не затрагивал круг церковно-православной культуры, дабы не говорить тривиальности и не вызывать неизбежные эмоции с какой-либо стороны. Не затрагиваю и огромное наследие русского христианства вне канонического православия: от старообрядцев до баптистов и лютеран, до различных исканий в духе «православного протестантизма», которые вряд ли оформятся во что-то определенное, но несомненно будут продолжаться⁴⁸. (Во всяком случае, христианская Россия явно не будет гладко-православной страной.)

Далее из неупомянутого, навскидку.

...Мир русской философии, разорванный на несколько очень разных эпох и лишь ожидающий как целостного прочтения, так и осознания в самых разных контекстах.

...То, что привыкли именовать «фольклором и этнографией», а теперь чаще называют «исследованиями русской народной культуры»: не столько поиск артефактов, сколько их осмысление и трактовка; связь символики, обрядов, методов ведения хозяйства с актуальными и сегодня правилами отношений с природой, методами самоорганизации, построения деловой жизни и т.д. Этнографический «архаико-модернизм» все чаще обнаруживает себя не в музейных, а в проектных жанрах.

...Эстетика яркой многоликости: от субкультуры ярмарки до «московского барокко» — неразрывная антитеза той русской народной культуры, где (как мало в каких других культурах) под легким налетом удальства и молодечества изобилует заунывное, печальное, отчаянное.

...Традиции русского офицерства, глубокие, уникальные, драматичные, не так уж ощутимые за пределами офицерской среды и отнюдь не служащие простым приложением к имперской машине.

...Традиция интенсивного ученичества, внезапного «вытаскивания себя за волосы из болота», многократный опыт фантастически быстрого становления из хаоса и разрухи⁴⁹.

...Историческая практика интуитивной пространственной организации — свободной живописной панорамы, пейзажных ансамблей допетровских русских городов; за этой панорамностью просвечивает феномен образования русского народа как народа рек: двигавшегося по рекам и обживавшего речные долины; народа, чей глаз настроен на речные окоемы⁵⁰.

Каждый может дополнить список тем, что было мной забыто.

Мы видим, что только поспорить за первенство способны два десятка традиций. Но речь не о конкуренции, не о выборе чего-то оптимального, а об умении быть причастным разным традициям своего народа, понимать тех, для кого смысловые акценты расставлены иначе, пользоваться несколькими культурными «фильтрами внимания», осмысленно комбинируя их.

Увы, лишь два с половиной *фильтра внимания* постоянно в ходу в России по отношению к любым событиям: литературный, военно-патриотический — да еще, пожалуй, фильтр «стеба», злобной или горькой иронии надо всем и вся, используемый как эрзац-утешение. Каждый сресся со своим.

На этих культурных инстинктах далеко не уехать.

Пора отдирать прежние фильтры от глаз, перестать ощущать себя заложниками надрывно создаваемой истории.

Разрабатывать же любую культурную или общественную стратегию оправдано с использованием хотя бы нескольких «фильтров», с опорой на сочетание нескольких традиций.

Глава IV. Другие культуры основы — другие общественные стратегии

*«А мы все ставим каверзный ответ
И не находим нужного вопроса»*

Эти две строки Высоцкого часто смотрятся подходящим эпиграфом к нашей жизни. Дальнейшие тезисы сформулированы вроде бы утвердительно — но это не ответы, а скорее проблематика тех вопросов, к которым пора подбирать решения. Они не произвольны, а подсказаны тем русским культурным наследием, которое мы с вами вспоминали.

Подобных смысловых нитей должно быть достаточно много, чтобы начинать создавать ткань обнадеживающих и относительно рациональных образов российского будущего. Рациональных не только в смысле логичных и посильных, но и возможных в качестве предмета широкого согласия, предмета договоренностей между людьми, которые мыслят очень по-разному.

Попробуем взглянуть дальше событий ближайших лет, когда заведомо будет много дурного и мало осмысленного. Начнем намечать дальний горизонт, который важно удерживать взглядом уже сейчас, чтобы сохранить прямую осанку, веру в оправданность усилий, не пропускать те моменты, когда можно отталкиваться от наклонных плоскостей, не только отбиваться от обстоятельств, но и последовательно добиваться чего-то.

Сюжет первый. Домой

...У нас теперь вроде бы даже гранты выдают для финансирования исследований на тему «Пути России». Хотя почему-то никому не приходит в голову размышлять о «Путях Франции», «Лыжне Норвегии», «Трассах Бразилии» или «Хайвеях Китая», а с осмысленным развитием у этих стран получается заметно лучше.

Мне же чаще слышится другой напев, эмигрантская строчка: «...Вернуться в дом Россия ищет троп».

Едва ли не большинство населения страны ощущает себя словно в парадоксальной эмиграции, изгнанной из дома на какие-то «пути», наблюдает происходящее словно бы через стекло застрявшего в тупике вагона. Пора возвращаться. Уходить с большой дороги и сворачивать к дому.

Ориентиры образования: многоликие и поисковые.

Уже не будут сбавать никакие «золотые списки из 100 главных

произведений, обязательных к изучению» и тому подобное (как бы государство их ни сочиняло и ни продавливало). Будет востребовано иное: множество разных входов в пространство русской культуры. Наряду с вариативностью возможных встреч с русским культурным наследием, важен и поисковый, исследовательский их характер. Такой ход дела по-настоящему сможет помочь и восстановлению связности и актуальности самой национальной культуры.

Ведь открытость культуры — мера ее жизнеспособности.

Залог взаимопонимания людей, встречавшихся с разным, научившихся разному, не в усвоении всеми одного «золотого списка», а в том, что разные стороны русской культуры переплетены между собой; тот, кто углубился в одни ее аспекты, найдет точки соприкосновения с теми, кто воспитывался на других ее сторонах.

Почему-то одни и те же люди требуют списков обязательных к изучению произведений (а то ужас как все погибнет!) и цитировать Тютчева про «умом не понять... в Россию надо просто верить».

Как раз тот самый случай, когда надо просто поверить.

Не страна дедов, а страна детей.

Про прошлое мы уже не договоримся (по крайней мере, как представители нынешних поколений). Многим из нас никогда не договориться и про общие ценности, пределы допустимого и запретного и т.д.

Но мы можем договариваться о делах наглядных, значение которых понятно всем: обсуждая Россию как страну, обращенную к детям. Как детям рядом с нами живется? На что они могут надеяться? Какой дом, город, область, страну мы им оставим?

Не «страна дедов», а страна детей и внуков. На это сложно переключаться, но самое время.

Вот — страна «от дома до работы», страна «где пьют и зарабатывают», «пашут и отрываются», где что-то истерично чтят и нечто настойчиво ниспровергают.

А вот — страна, уютная для детей, удобная для семейной жизни и воодушевляющая возможностями состояться в завтрашнем дне.

Каждый может оценить меру необходимых усилий для смены пейзажа.

Страна взрослых.

Но страна для детей — это обязательно и страна взрослых. Тех, кто ответственно укрепляет общий с детьми житейский мир и демонстрирует образ «достойной взрослости».

Пока же детей в России окружает подростковый мир старших поколений: подростковый максимализм, утопизм, страсть к фэнтэзи, жажда простых решений, пафос «своих-чужих» и пр. Минимум чьей-либо ответственности и «кроме мордобитиев, никаких чудес».

«Высокая словесность» здесь помогает плохо. Классическая русская литература — культура мятежной юности, скорее романтическая по своему настрою (как, впрочем, и большинство европейских литератур Нового времени), культура высоких рискованных ставок и малой ценности еще не сложившейся жизни (не говоря уже о жизнях чужих).

Но даже до этой юношеской культуры общество сильно не дотягивает, всячески лелея в себе инфантильность семиклассника.

Приходит пора взрослеть. Всех этих заполонивших общественное пространство пенсионеров с подростковыми комплексами, старух Шапокляк, грезящих мелкими пакостями, всяких юношей бледных со взором горящим — задвигать в подобающие им цирки и богадельни. Потребуется упорно создавать, разворачивать такое общественное пространство, в котором разговаривают взрослые люди о взрослых вещах.

Или, изображая вечный подростковый бунт, стареющее российское общество продолжит заваливаться в старческий маразм — или все-таки соберется с умом и начнет демонстрировать черты зрелости.

Человек у себя на родине.

Именно так: на родине с маленькой буквы. Не вообще в державе, а в *своей стране* — тех масштабов, которые человеку близки по складу биографии. Где он находит то, что для него лично дорого.

Вряд ли имеет хоть какую-то ценность нынешнее «патриотическое воспитание» — как надежда вселить рвение отдавать жизнь за начальство; куда нужнее воспитание людей, умеющих жить у себя на родине и намеренных сделать ее более достойной для жизни. А самих себя чувствовать в связи с этим достойными людьми.

Следом за обустройством своего дома приходит черед для восстановления общественного пространства вокруг, для взаимопонимания и самоуправления — вещей, так трудно пока приживающихся даже в головах.

Экономика согласия: домашнее измерение.

У многих на слуху сочетание слов «устойчивое развитие»; оно интуитивно воспринимается как незатейливый принцип сохранения имеющегося и добавления к нему новых достижений.

Но понятие это куда менее тривиально; оно складывалось в ходе множества международных научных диалогов и опирается на обширный опыт радикальных социально-экономических перемен.

«Устойчивым развитием» обозначили задачу перехода от общества-завода, общества, мыслящего в логике «производство — потребление», к обществу, «живущему в своем доме» и о своем доме заботящемуся. Оно запускается движением не «вперед», а «вглубь и вширь» — не консервируя, а радикально преобразуя фундаментальные основы жизненного стиля.

«Устойчивое развитие» понимается как принцип отношения к жизни, основанный на открытии возможностей развития для каждого (причем не столько «равных» возможностей, сколько вариативных, почти индивидуальных). При этом резко меняются и структуры производства, и отношения местных сообществ к экономике, образованию, пространству жизни. И — главное — резко расширяется круг лиц, чувствующих ответственность за то, что происходит рядом с ними.

Так, понятию экономики возвращается его изначальный, еще античный смысл: от науки о зарабатывании денег она «переосмысливается обратно» как культура обустройства «домашнего» пространства (и в малых, и в очень больших масштабах).

Для нас речь идет не о выборе экономической стратегии, а о возможном принципе оценивания любых стратегий; способе выбирать меру их «социальности», «консервативности», «либеральности» и т.п.

Мы ведь убедились, что доллары-то сами по себе не помогут. Прошедшие годы относительного финансового изобилия оставляют страну еще более изуродованной, чем она была до нефтяных дождей.

Не пора ли видеть в экономических моделях не идеологии и знамена, а инструменты? Которые больше или меньше способны помочь в обустройстве дома.

Сюжет второй. Паритеты и договоры

Демократия как практика жизни.

Россия никогда не жила при демократии, но уже успела выработать к этому слову устойчивую аллергическую реакцию.

Увы, другого слова не будет. Речь ведь не про власть большинства над меньшинством (или наоборот) — а про умение решать возникающие проблемы методом диалога, выяснения интересов друг друга и достижения согласия.

Нам доступны три способа решения проблем: договариваться между собой, подчиняться тому, кто «круче», или тихо ждать, что все разрешится как-то так, без нашего участия.

Приверженность первому способу и означает демократию.

Не будем предаваться иллюзиям. Никакой великой демократической России мы при жизни не увидим. Но добиваться паритета бюрократических сил и демократических практик, административной жестокости и человечности, безразличия к людям и уважения к ним — можно и должно.

Конечно, и без того слаборазвитые демократические традиции в стране сегодня задавлены тотальным триумфом административного аппарата. Но даже когда давление ослабнет — сможем ли мы этим воспользоваться? Чтобы потом добиваться хотя бы переменных успехов по существенным поводам, нужна заранее разработанная мускулатура.

Каркас вместо пирамиды.

Разброд и шатание — или вертикаль власти. Уход от этой дилеммы выглядит необходимым условием выживания для страны. Нужно что-то прочное, но гибкое, сильное, но внимательное, разнородное, но равноправное.

Каркасная структура вместо пирамиды.

Сверху ничего в России уже не улучшить. Страна доцентрализовалась до той степени маразма, что государственный аппарат, похоже, способен ныне только распределять и разрушать (ну, и в меру сил над кем поиздеваться).

В «низовой» порыв самоорганизации инертных масс населения (или их внезапное просвещение) тоже не чересчур верится. А про совсем жалкую нынешнюю «элитку» даже вспоминать как-то совестно.

Диктатура сверху, жажда ее повалить, инертность «электората» или его ожидаемый повсеместный бунт — все это внешняя обстановка, дополнительные условия задачи, но не те данные, которые помогут решению.

Решения смогут обнаруживаться на среднем уровне. В «узлах» возможного

горизонтального каркаса — среди широкого круга людей, привыкших брать на себя ответственность.

Понятно, что никакая полнота власти им не достанется; что все это будет не вместо, а вместе: и действующие круги ответственных людей, и ржавые иерархии, и эмоционально манипулируемые толпы, всегда готовые качаться от «ура» к «долой» и к «дайте мне»⁵¹.

Потому нагрузка на «людей каркаса» будет тройная: поиск друг друга, налаживание сотрудничества, общие усилия по решению сверхсложных проблем — только одна часть забот. Но еще и блокирование негатива, идущего с централизованных верхов, минимизация сваливающихся оттуда бед, отвоевывание фактических полномочий (часть вторая). И третья часть: культивирование практик поддержки для представителей аморфного населения, для тех, кто еще далек от самостоятельности и ответственности.

Возрождение федерации.

России это слово досталось нечаянно, по советскому наследству. После стихийной федерализации-феодализации 1990-х все свернулось обратно, в сверхцентрализованную «недоимперию».

Теперь федерацию потребуется создавать уже осмысленно — и не с нуля, а с отрицательных величин.

Из редко вспоминаемых тривиальностей: федерация — это союз самобытных стран; государство, состоящее из совокупности меньших государств, каждое из которых способно к самостоятельности.

Даже если отбросить проблемы борьбы за власть и полномочия — большая часть административно нарезанных российских областей мало напоминает хотя бы претензию на какую-то цельность и самостоятельность.

Превращение российского государства в федеративное — задача столь же непростая, сколь и необходимая к разрешению.

Но ее решение — это и наш шанс на здравый компромисс между приватизаторами централизованной «вертикали» и теми людьми, которые что-то могут менять в стране к лучшему.

Компромисс можно формулировать хоть бы и так: вам «недоимперия» без демократии⁵², а людям — их автономные внутрироссийские государства. И если верхний уровень российской державы почти неизбежно останется диким, циничным и как бы «имперским», то за адекватность, демократичность и вменяемость базового уровня государственности вполне можно побороться.

Когда-то «опричнину» отделяли от «земщины»; теперь пора бы поступить наоборот: отделить «земщину» от «опричнины» и убедить последнюю в земские дела не соваться.

Фанфарами, танками, доходами и знаменами «великой державности» при этом можно восхищаться или ужасаться ими; но надо добиться, чтобы центральная власть знала свое место и не зарилась на чужое.

Место на карте и стрелки на компасе.

Россия убедительно показала, что европейской страной не является; иначе с ней вряд ли случилось бы то, что случилось. Но столь же трудно не заметить, как бодро взятый «антизападный» курс тянет государство к вероятному краху в обозримой перспективе.

Придется отказываться от привычки путать связность и принадлежность. Канада, Аргентина, Южная Корея — отнюдь не европейские страны. Но отчего-то там никому не приходит в голову с пеной у рта доказывать свою неевропейскость и культивировать ненависть к Европе. Скорее наоборот⁵³. (Вот у Зимбабве действительно подход ближе к нашему.)

Если же разворачивать страну больше на восток, чем на запад (что, возможно, правильно), то вряд ли получится сделать это без европейцев. Быть владельцами широкого европейского выхода к Тихому океану заметно перспективней, чем служить представителем Северной Кореи на Балтике. Да и удержать безлюдный Дальний Восток с опорой на европейские проекты куда больше шансов, чем без оных.

И еще одно географическое замечание. Быть может, вместо привычных ожиданий «ветра свободы» с Запада, мистических или геополитических откровений с Востока нам стоит повернуться на девяносто градусов?

Россия лишь в какой-то мере — Запад, в какой-то — Восток, но вот Север — по полной программе.

А у людей Севера есть много актуальных для нас привычек. Север — это умение всюду успевать, никуда не торопясь. Это привычка к вдумчивости и внимательности. Это память о необходимости согласия и сотрудничества (ведь, враждуя, на Севере долго не проживешь; да и в одиночестве долго не протянешь). Это и образ мира без тесноты и границ.

Быть может, поумерив не так уж свойственный нам южный темперамент, на том и подводить географические выводы?

Сюжет третий. Страна многих обликов и возможностей

Россия — страна бесконечно разнообразная, Россия — страна возможностей. Как-то так?

Или напротив: Россия — страна однотипных городских районов, схоже вымирающих деревень, единообразных чиновных кабинетов и инстинктов, унылолицых блюстителей закона, шаблонных моделей поведения, стандартных жилплощадей и дачных участков; страна, где всех держит прописка, где ни у кого нет денег никуда доехать (да и некуда ехать, кроме как к родственникам раз в пять лет), где все проселки давно заросли, а самолеты летают только в Москву, где в «социальных лифтах» электричество отключено за недоплату, где активные люди — явно бельмо на глазу для окружающих; Россия — страна безнадёги?

Страну возможностей, страну многообразия не создать простой поддержкой разных местных «самобытностей». Страна засветится, когда в каждом обжитом месте будут пульсировать, соединяться, обновляться различные культурные традиции, а перед каждым жителем будут открыты деловые, культурные и образовательные сообщества из многих мест.

Карта «страны возможностей» выглядит не разделенной на разноцветные лоскуты, а переплетенной разноцветными нитями. Чтобы они проступили на этой карте, грамотная разведка и эффективное использование культурных ресурсов становятся значительно важнее выкачивания ресурсов нефтяных.

* * *

...В стране нарастает холодная гражданская война, как фронты пройдут — еще непредсказуемо. На границах бьется война подлая и вполне горячая. Мир еще только начинает свыкаться с мрачным образом России, и даже если российская политика притормозит в своем безумии, еще многие годы отношение к нам будет только ухудшаться.

Хотя уже сейчас мало найдется стран, где бы у людей было так плохо с доверием друг к другу и к самим себе. Как повернуть на полувоенном фоне от инстинктов взаимоуничтожения — к уважению человеческого достоинства, к непривычному налаживанию практик взаимопомощи? Достойный образ возможной завтрашней России — это ведь и более достойный образ самих себя уже сегодня.

Россия выходит из эпохи постмодерна и, соответственно, из элитарно-китчевого, высокомерно-вульгарного отношения к жизни.

Людям вновь придется отвечать на жизненные вопросы до боли всерьез.

Хорошо бы научиться отвечать на них в согласии с голосом совести, с ощущением умных усилий, с радостью от успешной помощи друг другу.

Кому-то в этой связи может пригодиться некоторое обновление культурных ориентиров — о чем мы и беседовали в данной статье.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В качестве примера локального, но выразительного можно еще вспомнить целый раздел искусства, закрепившийся на культурной авансцене по большому счету усилиями одного человека. Техника палехской и федоскинской миниатюры когда-то возникла как отрасль иконописного искусства и казалась почти обреченной на гибель; но благодаря великому искусствоведам А.В.Бакушинскому в советское время она умудрилась стать одним из символов русского художественного творчества.

² Более того, привычно, что именно государство географически и социально очерчивает биографию деятеля русской культуры, придает форму его судьбе. Произвол власти — словно неизбежный и непредсказуемый «спарринг-партнер» для судьбы человека в «культурной России».

³ Белоруссия, заметим, и легкого экзотизма не удостоилась.

⁴ Обратим внимание, что творчество Бажова и Писахова запросто могло вовсе не случиться или остаться незамеченным; да и сейчас оно воспринимается по преимуществу «экзотикой».

⁵ Заметим для себя: не в малой мере это случилось и благодаря совершенно особому положению Льва Николаевича в ряду русских писателей — имперскость и литературоцентричность ему-то как раз были чужды до отвращения, а близки многие из тех «скрытых» аспектов русской культуры, о которых пойдет речь далее.

⁶ Конечно, типизация — одно из свойств любой культуры; но в большинстве случаев оно уравнивается другим культурным вектором: любовной внимательностью к особенному, уважением к уникальности судеб и событий, культивированием ожидания «умной встречи» с непредсказуемым. В русской «высокой» культуре соотношение сил на этих полюсах весьма неравновесно.

⁷ Одним из последствий стала инфантилизация гуманитарного образования. За пределами псевдомарксистской риторики советское гуманитарное образование в огромной мере было обращено к области русской литературы и литературно воспринимаемой истории. Инерция сохранилась. Инерция количественная: в стране тысячи дипломированных исследователей поэзии Цветаевой и Ахматовой, но ничтожно мало адекватных специалистов по рациональному выбору общественных стратегий, социально-экономическому анализу и проектированию,

социокультурной экспертизе и т.д. Инерция качественная: общая привычка к тому, что гуманитарное образование — это не о готовности искать и находить умные решения для многих острейших проблем, а приятное времяпрепровождение, самоценная «игра в бисер», приправленная вольными разговорами на свободные темы.

⁸ А вышла из нее, по всей видимости, на рубеже 1980-х годов — со смертью Высоцкого и началом расцвета рок-культуры — когда сама молодая поэзия ушла в мир рок-музыки, принципиально синкретичный.

⁹ Заметим, кстати, что русская архитектура и живопись, гуманитарная и научная мысль, да и многие другие стороны национальной культуры подобной закомплексованностью и «роковой обреченностью» взглядов на исторический процесс отнюдь не страдали и не страдают.

¹⁰ Мы так привыкли к пушкинскому «Я не ропщу о том, что отказали боги / Мне в сладкой участи оспоривать налоги / Или мешать царям друг с другом воевать... Иные, лучшие мне дороги права» и пр., что вряд ли вспоминаем о том, что именно ближайшие старшие товарищи поэта сочиняли «Опыты теории налогов», жарко обсуждали темы военно-политической стратегии и как раз свое собственное общество (а не царский двор и не крепостное крестьянство) почитали и ведущей сознательной частью народа, и ядром русской политической нации.

¹¹ «Победителей и оправданье тиража», — по известному выражению Пастернака о Маяковском.

¹² Потому и образ мира русской высокой культуры — не столько содружество сильных талантов, сколько свита вокруг гениев. Для честолюбивого среднеталантливого человека перспективнее не воплощать творческое призвание у себя на родине, а, воспользовавшись своим дарованием в качестве «разового взноса», сделать скачок наверх и пробиться в «свиту».

¹³ Это не самая значительная его должность, но все-таки самая драгоценная для русской культуры. Полковник в войнах екатерининской эпохи, управляющий Монетным двором на рубеже веков, первый помощник Сперанского, а после 1814-го двенадцать лет «исполняющий должность государственного секретаря» империи. Между делом — президент Академии художеств, археолог, археограф и рисовальщик. Миротворческий объединитель «карамзинистов» и «шишковистов» в своем салоне, покровитель Крылова и Гнедича, «которых приютил и приручил в библиотеке». Создатель русской эпиграфики — «науки о надписях» и признанный лидер в своеобразном направлении — «правилах медальерного искусства». Впрочем, в сносках не место для подробных биографий, а о роли Оленина в русской культуре — долгая история.

¹⁴ Николай Полевой — пример уже скорее трагической, чем гармоничной судьбы. Его «Московский телеграф» («каждая книжка его была животрепещущей новостью») соединял проповедь литературного романтизма с новинками европейской техники, философии и политэкономии; впервые вопросы культуры, образования, техники, промышленности, экономики рассматривались рядом друг с другом и в тесной связи. Купеческий сын, вынужденный всю жизнь биться за хлеб насущный, он попытался опереться на ориентиры и интересы образованного «среднего сословия». Он взялся создавать культурные основы для сближения и согласия разных сословий, просвещения и политики, технической мысли и художественной — в стремлении сделать своих читателей современниками европейского XIX века. В едва ли не безнадежной ситуации он умудрился продержаться почти десятилетие между прессом бюрократического николаевского государства и презирающим плебеев дворянским обществом.

О Н.А.Полевом не так давно вышла книга Самуила Лурье «Изломанный аршин» (СПб, 2012) — одна из замечательных «ласточек» радикального переосмысления картины культурного прошлого. Книга, в которой не жизнь пушкинского современника оттеняет жизнь поэта, а, напротив, судьба Пушкина выступает фоном для биографии его выдающегося ровесника. И сравнение их общественных и моральных позиций неожиданно оказывается отнюдь не выигрышным для Александра Сергеевича.

¹⁵ В.Ф.Одоевский отдельно известен как писатель, отдельно — как музыковед, отдельно — как организатор литературного салона, отдельно — как философ и естествоиспытатель, отдельно — как ответственный государственный чиновник. А еще — как директор Румянцевского музея, соучредитель Географического общества и основоположник отечественной фантастики. Все это редко осмысливается вместе. Еще менее знаменита его центральная роль в истории русской педагогики на протяжении двух десятилетий: между эпохой «Педагогического журнала» в начале 1830-х и расцветом деятельности Пирогова и Ушинского в 1850-х. Хозяин главного салона литературной аристократии (наследников «пушкинской партии»), он

становится и главным народным просветителем, ведущим писателем и издателем массовых популярных книг для крестьянского и детского чтения.

¹⁶ Личность К.Д.Кавелина, одна из масштабнейших в XIX веке и ключевых в ходе «великих реформ», оказалась равно неудобной для идеологии почти всех партий. Кавелина с безразличием упоминают между делом то в одном, то в другом ряду под стандартными ярлычками; его привычно записывают то в число «западников», то в ряды «идеалистов» и «позитивистов» (причем одновременно — уникальный случай). Но вот примеры нескольких его мировоззренческих позиций, столь же актуальных сегодня, как и полтора столетия назад:

Рассмотрение в качестве ближайшей исторической задачи народа *формирование личного способа жизни*: «как Россия, вбирая необходимые условия из своего прошлого и имея перед собой опыт других стран, найдет свой — русский — путь к личности».

Убежденность, что «психическое, юридическое и нравственное ничтожество личности в России» может быть прекращено только через согласование гражданских форм жизни с семейными, общинными и государственными.

Примирительный отказ от тупикового конфликта западников и славянофилов через постановку приоритетной задачи изучения России, «реальных явлений в жизни русской земли, русского народа, прошлой и настоящей, без всякой предпосылки».

Организация массовой работы по изучению России и русского народа (среди реализованных идей — разосланные и заполненные самими жителями в разных уголках страны формы описаний местности, в которой они проживают).

Его наиболее значительные книги — «Задачи психологии», «Задачи этики» и «О задачах искусства» — предложили продуманные основания для обширной и по существу доселе не воплощенной программы гуманитарных исследований. В совокупности своих трудов Кавелин впервые развернул систему представлений о том, что позднее назовут «культурно-исторической психологией». (Подробнее об этом см., напр., *Шевцов А.А.* Введение в общую культурно-историческую психологию. — СПб., 2000).

¹⁷ Напр., из «Письма к Достоевскому» К.Д.Кавелина (Вестник Европы, 1880, №11): «Не могу я признать хранителем христианской правды простой народ, внушающий мне полное участие, сочувствие и сострадание в горькой доле, которую он несет, — потому что, как только человеку из простого народа удастся выцарапать из нужды и нажить деньги, он тотчас же превращается в кулака... Бойкие, смысленные, оборотливые почти всегда нравственности сомнительной. Теперь взгляните пристальнее в типы простых русских людей, которые нас так подкупают и действительно прекрасны: ведь это нравственная красота младенчествующего народа! Первою их добродетелью считается, совершенно по-восточному, устранившись от зла и соблазна, по возможности ни во что не мешаться, не участвовать ни в каких общественных делах... Мы бежим от жизни и ее напастей, предпочитая оставаться верными нравственному идеалу во всей его полноте и не имея потребности или не умея водворить его, хотя отчасти, в окружающей действительности, исподволь, продолжительным, выдержанным, упорным трудом... Что важнее, что должно быть поставлено на первый план: личное ли нравственное совершенствование или выработка и совершенствование тех условий, посреди которых человек живет в обществе? ...Оба решения вопроса и верны, и неверны: они верны, дополняя друг друга; они неверны, если их противопоставлять друг другу».

¹⁸ По выражению того же К.Д.Кавелина.

¹⁹ Во многом именно А.Н.Оленина можно считать основателем правильной организации библиотечного дела в России; с легкой руки Н.А.Полевого в России появилось само понятие «журналист» и само представление о том, каким должно быть дело главного редактора. В.Ф.Одоевский — организатор системы работы в детских приютах и детских больницах, создатель одной из первых выстроенных систем педагогических методик и руководств (и уж заодно — законодатель отечественного музыковедения); Кавелин — один из главных деятелей реформ Александра II и т.д.

²⁰ Если продолжать метафору, то главные «силовые линии» «горизонтальной культуры» проходят не по вершинам, а по перевалам. От таких точек отчета открыт и путь вверх — к вершинам гениальных произведений, и спуск вниз, «в долины», но только не к литературным эпитонам, а к многосложному ходу культурной жизни в разных уголках и областях страны.

²¹ См. книги *Иванова А.В.*: Message-Чусовая. — СПб., 2007; Хребет России. — СПб., 2010; Горнозаводская цивилизация. — М., 2013; е-бург. Город храбрых. — М., 2014.

²² *Салимов И.Х.* Среднее Поволжье. Книга для чтения по краеведению. — М., 1994.

²³ Вот еще несколько строк из книги: «...Следует ли воспринимать региональное сознание как нечто, данное нам изначально? Конечно, нет. Как человек воспитывается всю жизнь, точно так же происходит становление местностей. Народы не только заселяют местность, но из поколения в поколение происходит выработка местного самосознания. И в зависимости от давности заселения, от конкретных условий этот процесс в разных местах находится на разных стадиях.

...Итак, в России очень немного местностей среднего звена — краев. Можно сказать, что в настоящее время идет их становление. В этой связи Среднее Поволжье представляется очень интересным примером выработки самосознания, где наряду с уже устоявшимися традициями, представленными в основном коренным населением, происходит становление нового регионального сознания. С ростом местного самосознания укрепляется и сам край, т.е. от осознанности края во многом зависит его будущее.

...Будущее края должно быть таким, каким он сам себе его задумывает. Поэтому речь скорее должна идти не об экологии человеческого обитания, а об экологии мысли. Это возможно только тогда, когда мысль, освободившись от чуждой среды, поселится в ландшафте и из мысли о ландшафте превратится в замысел самого ландшафта».

²⁴ За то себя и уважают, как известный волк из детского мультфильма.

²⁵ В которую могут войти и книги таких «писателей земли башкирской», как Аксаковы, и знание календаря башкирских праздников, и чуткость к особенностям татарской речи, и представление об обычаях марийских и чувашских деревень и т.д.

²⁶ Потому не менее значим и мысленный диалог с теми народами, что участвуют в нем из глубины времен; идет ли речь о древних вотяхках и пермяках Урала или о тех, кто изгнан/истреблен уже в XX веке: как финны в Ленинградской области, евреи в Невеле и прочих городках вдоль черты оседлости, немцы на Саратовском левобережье и т.д.

²⁷ К чему заводили такие проекты на свой страх и риск волевым начальникам, умным, обеспеченным, отлично встроенным в партийную систему, кроме надежды на добрую память потомков? В 1973 году в своем дневнике Г.В.Мясников формулировал так: «Мое устремление: 1) сделать Пензу интересным городом, пробудить у жителей настоящую любовь к нему. Но одними лозунгами сделать это сложно, нужна материальная основа. Надо иметь то, чем гордиться. 2) В ходе революции ни один народ не растерял традиций столько, сколько русский народ. Поэтому основная направленность "интересных" строек — это возрождение национального достоинства русского человека».

²⁸ «Бекетовскими» они не стали зваться лишь потому, что коллега Андрея Николаевича, профессор К.Н.Бестужев-Рюмин, вызывал большее административное доверие.

²⁹ Ведь патриотическая версия вынуждена была прицениваться: к степени «русскости» фамилий, нюансам подданства, мере зависимости от иностранных исследований и наставников (не дай бог оказаться кому должным!), «идейности» и понятности для современной власти и т.д. и т.п. — в результате от истории национальной науки оставалась лишь малая часть, загнанная в прокрустово ложе пафосных «героических» биографий.

³⁰ А трое сыновей Эйлера — генерал, врач и ученый-физик — с юности привыкли считать себя российскими подданными.

³¹ Яснов М.Д. Путешествие в чудетство. Книга о детях, детской поэзии и детских поэтах. — СПб., 2014.

³² Вот пример формулировки: «Вобравшая в себя обломки, осколки и целые конструкции мифа древности, обогатившаяся многовековым опытом развития (сначала — фольклорного, затем — литературного), сказка в чтении нынешних детей стала чем-то вроде «возрастного мифа» — передатчиком исходных норм и установлений национальной культуры. Сказка превращает дитя семьи — этого папы и этой мамы — в дитя культуры, дитя народа, дитя человечества. В «человека социального», по современной терминологии». (Петровский М.С. Книги нашего детства. — М., 1986.)

³³ Из комментариев крупнейшего исследователя детской литературы Мирона Семеновича Петровского: «...Сказки Чуковского представляют собой перевод на «детский» язык великих традиций русской поэзии от Пушкина до наших дней. Они словно бы «популяризируют» эту традицию — и в перевоплощенном виде возвращают ее народу... осуществляя экспериментальный синтез этой высокой традиции — с традицией низовой и фольклорной... Великое искусство, понятное всем, было его идеалом, от которого он никогда не отступался...»

³⁴ По замечанию М.Д.Яснова: «Детская субкультура всегда отличалась тем, что в ней

«оседали» уже отработанные во взрослой культуре обычаи и представления. В XIX веке детская поэзия шла вослед взрослой; но в XX столетии ее место резко изменилось... разного рода запреты начали вытеснять в детскую литературу таланты, лишенные возможности реализоваться во взрослом обществе, но стремящиеся сохранить свою индивидуальность и присутствие в культуре (нечто подобное происходило в советском художественном переводе)».

³⁵ Петровский М.С. Книги нашего детства. — М., 1986.

³⁶ «Детская поэзия — это воспитание сострадания, сочувствия и умения эстетически воспринимать жизнь, — формулирует М.Д.Яснов, добавляя, — одно из предназначений поэзии для детей — раскрепощать читателя в отношении с языком, то есть с миром». (Яснов М.Д. Путешествие в чудество. Книга о детях, детской поэзии и детских поэтах. — СПб., 2014.)

³⁷ Вообще мультипликационная традиция едва ли уступает здесь по масштабности литературной и сохраняет свое величие до наших дней: вплоть до «ожившей живописи» фильмов Александра Петрова, до замечательнейшего проекта «Колыбельные мира»; до тех же «Смешариков» (всем привычных и поставленных на поток, но не менее от того достойных признания).

³⁸ Только для ясности придется условно разделить два понятия. Назовем одно *историей образовательной регламентации*: нормирования правил обучения, бюджетов, физического устройства школ и вузов, селекции учащихся и учителей, формальных требований к ним, административных утопий и пр. А *историей педагогической культуры* другое: историю осмысления, изобретения, становления грамотных, человекообразных форм передачи опыта жизни от взрослых к детям, практик достойного общения между людьми разных поколений. Педагогическая культура в чем-то воспроизводит себя из века в век, в чем-то узнаваемо обновляется, в чем-то вдруг оказывается совсем новой и неожиданной. Она распространяется в отечественном социальном пространстве рывками, прорывами, всплесками; вновь и вновь подавляется очередным торжеством бюрократического насилия при относительном равнодушии населения. Возможно, отсюда и нигилизм по ее поводу: мало какая культура так искорежена, искажена в социальной жизни; чтобы увидеть нечто настоящее, требуется с усилием разбираться, добираться до нее.

³⁹ Умозрительная схема — силовое внедрение — наказание неисполнительных — частичный результат, достигнутый нежданно-дорогой ценой — обживание получившегося социального уродца: в политике такой жанр работы доминирует. Но когда подобная стратегия реализуется во всех сферах по любым возможным жизненным поводам...

⁴⁰ А после того, как условия созданы, зачастую никаких дополнительных планов, распоряжений и усилий может и не потребоваться.

⁴¹ Бабушкина Т.В. Что хранится в карманах детства. — СПб., 2013. См. далее: «...В своей жизни мы каждый раз искали тот язык, ту роль ребенка, ту ситуацию, ту декорацию (в широком смысле этого слова), то произведение, через которое ребенок сможет проклюнуть скорлупу и зайти в эту бесконечность культуры. Для разных людей это может происходить в очень разных точках, иногда по поводу самых странных произведений. Когда происходит это глубокое прочувствование хотя бы чего-то одного, то человек уже как бы сам становится своим проводником, начинает душевно грамотно осматриваться и двигаться в культурном пространстве — поскольку все становится целостно».

⁴² Насколько странен даже столь привычный для нас жанр дачи-убежища — где-нибудь на огромных осушенных болотах, расчерченных квадратно-гнездовым способом на сотни одинаковых участков. Жажда хоть какого-то личного пространства и подобия семейного труда собирает летом миллионы людей в эти перенаселенные дачные города, где до ближайшего не засыпанного мусором леса иногда приходится шагать километры. Причем росли эти дачные города одновременно с вымиранием в живописнейших местах множества русских исторических деревень. Последующие дворцы российских нуворишей чаще всего выглядят воплощением все той же бездомной мечты о даче-убежище, но только раздутой до тех масштабов, на какие денег хватало.

⁴³ Напр., у И.В.Киреевского: «Не природные какие-нибудь преимущества словенского племени заставляют нас надеяться на будущее его процветание, нет!.. Русский быт и эта прежняя, в нем отзвучающая, жизнь России драгоценны для нас, особенно по тем следам, которые оставили на них чистые христианские начала»; «...Сама философия есть не что иное, как переходное движение разума человеческого из области веры в область многообразного приложения мысли бытовой».

⁴⁴ Это наглядно заметно на фоне Украины, где культурный мир крестьянства все-таки выжил и во многом продолжает задавать тон в общенациональном диалоге. Сохранность крестьянской культуры мы обнаружим и у многих российских народов. У русских, изничтожающих сейчас последние сельские школы, дело обстоит едва ли не хуже всех; культура русского крестьянского хозяйствования едва держится в сельском пространстве обрывками, ошметками на фоне антикультуры лесорубовских поселков, индустриального типа сельхозпредприятий и затухающих деревень с последними пенсионерами.

⁴⁵ Можно вспомнить и обстоятельный «Лад» Василия Белова, и поразительные крестьяноведческие исследования Теодора Шанина, и восстановления памяти о том удивительном слое русской интеллигенции столетней давности, которая была тесно связана с крестьянством и умела мыслить одновременно и научными, и общественно-хозяйственными, и крестьянскими категориями. К примеру, наследие таких выдающихся представителей «крестьянствующих ученых», как А.В.Чаянов и А.В.Советов, Ф.И.Гиренок раскрывает в качестве одной из наиболее значимых традиций оригинальной русской философии (в книге «Патология русского ума. Картография дословности». — М., 1998).

⁴⁶ Знаменитая цитата из «Жизни и судьбы» Леонида Гроссмана: «...Чехов ввел в наше сознание всю громаду России, все ее классы, сословия, возрасты. Но мало того! Он ввел эти миллионы как демократ, понимаете ли вы, русский демократ! Он сказал, как никто до него не сказал: все мы прежде всего люди, понимаете ли вы, люди, люди, люди!.. Понимаете — люди хороши и плохи не оттого, что они архиереи или рабочие, татары или украинцы — люди равны, потому что они люди. Полвека назад ослепленные партийной узостью люди считали, что Чехов выразитель безвременья. А Чехов знаменосец самого великого знамени, что было поднято в России за тысячу лет ее истории, — истинной, русской, доброй демократии, понимаете, русского человеческого достоинства, русской свободы. Чехов сказал: пусть Бог посторонится, пусть посторонятся так называемые великие прогрессивные идеи, начнем с человека, будем добры, внимательны к человеку, кто бы он ни был; начнем с того, что будем уважать, жалеть, любить человека, без этого ничего у нас не пойдет. Вот это и называется демократия, пока несостоявшаяся демократия русского народа. Русский человек за тысячу лет всего насмотрелся — и величия, и сверхвеличия, но одного он не увидел — демократии».

⁴⁷ Да и сама «Школа Толстого» как педагогическая система вполне успешна поныне в разных странах. Если же говорить о влиянии на историю российского образования, то на рубеже XIX — XX веков «толстовское» издательство «Посредник», руководимое И.И.Горбуновым-Посадовым, четверть века выступало явным лидером в цветущем тогда и многообразнейшем педагогическом книгоиздании.

⁴⁸ Порой высказывают мнение, что и сама русская классическая литература в идейной своей направленности — несложившийся «протестантизм на православной почве».

⁴⁹ По выражению философа Г.П.Щедровицкого: «Россия — такая странная, чудовищная и чудесная страна, что в ней потом возникает то, чего нет, появляется неизвестно откуда и оказывается на самом высоком уровне».

⁵⁰ Воспоминание о «речном происхождении» русского народа звучит особенно болезненно при нынешнем небрежении и к путеводности рек, и к деградации речных долин, и к панорамам городов.

⁵¹ А также разнообразные бандиты и мародеры на всех уровнях — «вишенкой на торте».

⁵² Говоря по совести, не бог весть как много демократии найдется и в верхах американской или индийской политики. Но вот «этажом ниже» «государственные люди» уже резко перестают быть всеильны перед лицом местных сообществ, традиций, законов, интересов и т.д.

⁵³ Еще есть странное чувство, словно «воинствующее безбожие» советской эпохи решили с внутренних целей перевести на внешние; потоки клеветы на христианскую церковь в России переадресовали к остальным странам христианского мира. (Только ведь если долго убеждать своих соседей, что они враги, то они постепенно поверят и будут как минимум со все большей опаской и брезгливостью смотреть на твою страну. Разубеждать придется долго.)